В.Т. Нарежный

Сочинения

Василий Нарежный

Российский Жилблаз, Или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова

«Public Domain»

1812

Нарежный В. Т.

Российский Жилблаз, Или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова / В. Т. Нарежный — «Public Domain», 1812

В книгу Василия Трофимовича Нарежного (1780–1825), одного из первых русских романистов, вошел «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1812) – плутовской роман нравоописательного, резко обличительного направления.

© Нарежный В. Т., 1812
© Public Domain, 1812

Содержание

У истоков русского романа 5
I 5
II 8
III 13
IV 20
V 25
Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы СимоновичаЧистякова 33
Предисловие 33
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 35
Глава I 35
Глава II 38
Глава III 41
Глава IV 44
Глава V 47
Глава VI 50
Глава VII 54
Глава VIII 57
Глава IX 60
Глава X 64
Глава XI 67
Глава XII 70
Глава XIII 73
Глава XIV 77
Глава XV 81
Глава XVI 84
Глава XVII 88
Глава XVIII 91
Глава XIX 94
Глава XX 98
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 102
Глава I 102
Глава II 106
Конец ознакомительного фрагмента. 107

Василий Нарежный
Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова

У истоков русского романа

I

В 1825 году П. А. Вяземский опубликовал в «Московском телеграфе» «Письмо в Париж», в котором сообщал самые важные литературные новости: говоря о скором появлении двенадцатого тома «Истории государства Российского» Карамзина, о том, что Пушкин закончил поэму «Цыганы» и теперь как «новый Атлант» испытывает свои силы на новом поприще и пишет трагедию «Борис Годунов», критик заключал: «Надеюсь, вы обрадуетесь моим вестям, а теперь хочу удивить вас вестью почти неслыханною».

Какая же литературная весть могла показаться «почти неслыханною» на фоне даже таких явлений, как новая поэма или первое драматическое произведение Пушкина?

«На днях, – продолжает Вяземский, – прочитал я русский роман: «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», сочинение Нарежного, который, к сожалению, умер прошедшим летом еще в зрелой поре мужества. Это четвертый роман из написанных автором. Не удовлетворяя вполне эстетическим требованиям искусства, Нарежный победил первый и покамест один трудность, которую, признаюсь, почитал я до него непобедимою. Мне казалось, что наши нравы, что вообще наш народный быт, не имеет или имеет мало оконечностей живописных, кои мог бы схватить наблюдатель для составления русского романа». Но Нарежный сумел развеять эти опасения.

«Несмотря на то, – заключал рецензент, – Нарежный умер, почти не слыхав доброго слова о себе от наших журналистов…»[1]

Отзыв Вяземского – самый проницательный и тонкий из появившихся до тех пор – достойно возвысил Нарежного как одного из первых, если не первого русского романиста. Вместе с тем было подчеркнуто, что Нарежного не поняли, не оценили в этой его функции. С тех пор и та и другая мысль – о заслугах Нарежного в создании русского романа и, так сказать, недооцененности этих заслуг – стали лейтмотивом всех критических суждений о писателе. Чтобы не приводить большого количества примеров, коснусь лишь одного эпизода посмертной литературной судьбы Нарежного.

Упомянутый эпизод относится к 1829 году. В этот год вышли четыре томика «Ивана Выжигина» Ф. В. Булгарина – произведения, имевшего у широкого читателя еще неслыханный успех и тотчас аттестованного самим автором и его литературными друзьями как первый русский роман. Это невольно воскресило в памяти облик умершего четыре года назад Нарежного. «…Бедный Иван Нарежный умер в безвестности, – писал 15 апреля 1829 года поэт И. И. Дмитриев, – и никто, еще и при жизни его, не сказал путного слова о его двух романах – «Бурсаке» и «Двух Иванах», не менее оригинальных и писанных с талантом, несмотря на черствость слога и отсутствие вкуса».[2] И. Дмитриев еще только ограничивает приоритет Булгарина в пользу его менее удачливого предшественника. Другой же современник, критик Н. И. Надеждин, убежден, что это величины просто несравнимые. Когда Фекла Кузминишна, персонаж его драматизированной рецензии на «Ивана Выжигина» («Вестник Европы», 1829, № 10, 11), попробовала замолвить слово за новоявленное детище Булгарина, Пахом Силич Правдивин, бывший корректор, воплощение здравого смысла и эстетической проницательности, с чувством воскликнул: «А ты разве не читала романов покойника Нарежного?… Вот так подлинно народные русские романы! Правду сказать – они изображают нашу добрую Малороссию в слишком голой наготе, не отмытой нисколько от тех грязных пятен, кои наведены на нее грубостью и невежеством; но зато – какая верность в картинах! какая точность в портретах! какая кипящая жизнь в действиях!..»[3]

Спустя двенадцать лет В. Г. Белинский повторил это мнение, придав ему лаконичную, почти афористическую форму: «Романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их родоначальник – Нарежный».[4]

Бывают писатели, чья посмертная судьба прихотлива и капризна, подвержена различным колебаниям и изменениям. Репутация Нарежного оказалась на редкость устойчивой и постоянной. И литературной науке не пришлось спорить с критикой – она просто переняла некоторые ее ведущие идеи. Переняла не только мысль о Нарежном как родоначальнике русских романистов, но и сетование о том, что писатель не был по достоинству признан и оценен. Только это сетование теперь уже не ограничивалось временем Нарежного, но последовательно доводилось до того хронологического рубежа, на котором находился тот или другой автор. Так, уже в преддверии нашего века автор первой и пока самой полной монографии о Нарежном Н. Белозерская, касаясь заслуг «нашего первого по времени романиста», с горечью отмечала: «В настоящее время немало найдется образованных людей, которые едва знают о существова-

---

[1] «Московский телеграф», 1825, ч. VI, № XXII, с. 181–183.

[2] И. И. Дмитриев. Соч. СПб., т. II, 1893, с. 299.

[3] Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 95. В том же 1829 году высокая оценка Нарежного как романиста была дана во французском журнале критиком Ж. Шопеном: «Среди писателей, которые отдались изображению национальных нравов, Нарежный бесспорно занимает первое место» (J. Chopin. Oeuvres de V. Narejny – Revue Encyclopedique. 1829, t. 44, p. 114–115).

[4] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, т. V, 1954, с. 564.

нии Нарежного, хотя помнят имена многих современных ему более мелких и даже бездарных писателей».[5]

[5] Н. Белозерская. Василий Трофимович Нарежный. Историко-литературный очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. СПб., 1896, ч. I, с. 2.

II

Нарежный писал не только романы, но и стихотворные произведения самых различных жанров, от басни до поэмы, драматические сцены и трагедии. В литературном наследии писателя романы выделились и возвысились как творчески самое ценное и значительное. По-видимому, и сам писатель пришел к этому выводу, сознательно самоопределившись как романист – или, во всяком случае, как прозаик – в результате своего недолгого, но достаточно бурного, исполненного превратностей жизненного пути.

Как и на многих русских интеллигентов начала XIX века, решающее воздействие на Нарежного оказали такие события, как Великая французская революция, а затем Отечественная война 1812 года. Нарежный всегда был далек от революционной идеологии; однако порожденное французской революцией вольномыслие, критическое отношение к феодальным нормам и установлениям, дух дерзостного непризнания авторитетов – все это захватило будущего писателя. Отдал он дань и тому патриотическому подъему, который пережило русское общество во время борьбы с наполеоновским нашествием. Событие это получило и прямое отражение в творчестве писателя (в повести «Александр» Нарежный описывал вступление победоносных русских войск в Париж). И, как у многих русских интеллигентов, влияние этих факторов сливалось воедино. Чем выше поднималось национальное самосознание, патриотический дух, тем сильнее росло критическое неприятие государственных и общественных институтов феодальной России.

Василий Трофимович Нарежный родился в 1780 году, в местечке Устивица Миргородского уезда Полтавской губернии. Отец его, личный дворянин, в прошлом военный, корнет в отставке, владел небольшим имением, но крепостных не имел. Семья добывала хлеб собственным трудом.

Нарежный был земляком Гоголя, но родился двадцатью девятью годами раньше. Три десятка лет – срок для истории небольшой, однако для Украины это время в известном смысле оказалось переходным. Всего за пять лет до рождения Нарежного была ликвидирована Запорожская Сечь; еще живы были внуки участников походов Хмельницкого, еще можно было встретить казаков и казачек в национальной одежде; словом, самобытность этого края ощущалась еще достаточно сильно и отчетливо.

Украина заронила в Нарежном любовь к старине, интерес к народному быту и, как хорошо сказал один из первых его исследователей, «вкус к юмористическому представлению обыденной действительности». Но понадобились годы, чтобы все это нашло отражение в его творчестве.

В 1792 году Нарежный был отдан в дворянскую гимназию при Московском университете, а спустя шесть лет «произведен в студенты» того же университета. Учился он вначале на общем, подготовительном курсе, именуемом курсом «словесных наук», а потом перешел на философский факультет. Программа занятий была довольно широкой и включала в себя не только гуманитарные дисциплины (логику и метафизику, всемирную историю и географию), но и дисциплины естественные и математические.

На пороге студенческой жизни – в 1798 и 1799 годах – стал делать Нарежный первые литературные пробы, печатая свои сочинения в московских журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена, или Утехи любословия». Это были оды, басни, драматические сцены, поэмы, исторический рассказ в прозе, обнаружившие самые различные влияния, в том числе русских поэтов XVIII века (особенно Державина) и, как правило, далекие от стилистической цельности. Однако признаки самобытности уже угадывались; на стихи Нарежного в 1880 году обратил внимание такой оригинальный и филологически образованный лите-

ратор, как А. Х. Востоков;[6] а спустя семнадцать лет Кюхельбекер упомянул Нарежного наряду с Радищевым, как писателей, чьи «усилия» были направлены на обновление русского стихосложения.[7]

Однако в литературных занятиях или, по крайней мере, в печатанье Нарежным своих сочинений внезапно наступил перерыв. В 1801 году по неизвестным нам причинам, выйдя из университета, Нарежный уехал на Кавказ, в Тифлис, и определился на службу в только что учрежденное Грузинское правительство, призванное управлять недавно перед тем присоединившимся к России краем. Нарежный прослужил чиновником правительства до мая 1803 года. Мотивы поступления Нарежного на столь необычную службу, равно как и почти внезапного увольнения, опять-таки неизвестны. Но с уверенностью можно сказать, что пребывание в Тифлисе имело на Нарежного двойственное влияние. С одной стороны, он оказался надолго оторванным от журналов, от литературной среды, от постоянного эстетического общения, столь необходимого для молодого писателя. Но с другой стороны, два года службы оснастили Нарежного большим запасом острых и свежих житейских впечатлений, познакомили не только с нравами и обычаями экзотического края, но и со способом действия тупой и самовластной царской администрации. Той администрации, которая в лице главнокомандующего генерал-лейтенанта Кнорринга и гражданского правителя Коваленского выказывала полное равнодушие и пренебрежение к национальным особенностям и самобытности местных народов, равно как и полное презрение к человеческому достоинству вообще. Кавказские впечатления Нарежного непосредственно отразятся в его будущем романе «Черный год, или Горские князья», а опосредованно повлияют, пожалуй, на всю его деятельность романиста, усилив ее нравоописательное и, прямо скажем, обличительное направление.

С Кавказа Нарежный направился в северную столицу, где вынужден был искать подходящего места. С осени 1803 года – он мелкий чиновник Министерства внутренних дел, а в 1807 году поступает в «Горную экспедицию Кабинета его величества», управляющую далекими Нерчинскими и Колывано-Воскресенскими заводами, и служит здесь пять лет, до 1813 года.

В это время в петербургской литературной жизни назревают острые дискуссии; в год приезда Нарежного в северную столицу выходит знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» адмирала А. С. Шишкова, содействовавшее образованию двух враждебных группировок – «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». Далекий от литературной среды, Нарежный не находит – или не хочет найти – доступа к обществам. Критическое отношение его к шишковистам и позднее будет зафиксировано в романе «Российский Жилблаз», в фигуре смешного педанта Трис-мегалоса, а также в предисловии сочинителя, но здесь же, в этом романе, высмеяны и излишества чувствительности и сентиментальности, свойственные карамзинистам.

Тем временем Нарежный вновь выходит на литературную сцену: в 1804 году в Москве отдельной книжкой выходит его трагедия «Димитрий Самозванец», написанная, вероятно, еще в студенческие годы. Произведение это, не отличающееся художественными достоинствами, в свое время приобрело некоторую известность, ставилось на сцене, а с историко-литературной точки зрения трагедия интересна тем, что обнаруживает сильное влияние «Разбойников» Шиллера. На это обратили внимание еще современники; новейшие же исследования открыли один любопытный источник шиллеризма Нарежного: переделку «Разбойников», осуществленную в 1782 году берлинским драматургом К.-М. Плюмике. В этой переделке верный Швейцер убивает Карла Моора, чтобы не отдать своего атамана в руки палачей, и такая непримиримость

[6] «Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Императорской академии наук», т. V, вып. 2. СПб., 1873, с. X; см. также; Н. Белозерская. Указ. соч., ч. I, с. 5.

[7] В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., «Наука», 1979, с. 434.

и бескомпромиссность финала, по свидетельству А. И. Тургенева, понравилась Нарежному. Разговор Тургенева и Нарежного происходил как раз перед написанием «Димитрия Самозванца», датированного автором 1800 годом.[8]

«Димитрий Самозванец» вместе с такими ранними вещами Нарежного, как стихотворение «Освобожденная Москва», ознаменовали усилившийся в русском обществе интерес к отечественной истории. Еще отчетливее отразился этот интерес в «Славенских вечерах», первую часть которых Нарежный издал в 1809 году (вторая часть, вместе с первой, вышла уже посмертно, в 1826 г., будучи дополнена произведениями, печатавшимися отдельно в журналах). В «Вечерах» Нарежный попытался создать образ целой страны в определенную эпоху – Киевской Руси, – разумеется, образ достаточно условный и стилизованный, но пронизанный единым настроением. Сами «вечера», как обрамление, как фон к описываемым событиям, короче, как художественный прием, знакомый Нарежному по Карамзину («Деревенские вечера», 1787), а затем перешедший к Гоголю («Вечера на хуторе близ Диканьки»), к Загоскину («Вечер на Хопре») и т. д., – сам прием вечеров был использован для создания – и одновременно преодоления – исторической дистанции: автор любит думать о прошлом на берегах моря Варяжского, когда его окружает «сонм друзей» и «прелестных дев». И следует приглашение читателю: «При закате солнца летнего в воды тихия приходите сюда внимать моему пению. Поведаю вам о подвигах ратных предков наших и любезности дев земли Славеновой».[9] Фраза «…внимать моему пению» была вполне уместна, так как следовавшие затем рассказы о деяниях предков, эти ритмизированные поэмы в прозе, автор, подобно древнему барду, действительно пел или произносил речитативом. Создавался столь типичный для раннего русского романтизма сентиментальный и одновременно морализаторский тон, в котором документальность летописных свидетельств растворялась оссианистическими красками. Сказалось в «Славенских вечерах» и воздействие новооткрытого «Слова о полку Игореве».

«Славенские вечера» имели успех. Несмотря на это, Нарежный не пошел намеченной было дорогой преромантической стилизации прошлого и довольно резко сменил направление. К началу следующего десятилетия – по свидетельству Н. Греча, уже к 1812 году – Нарежным написан «Российский Жилблаз», произведение, которое открыло период его романного творчества. Увы, дебют оказался трагическим. В 1814 году, тотчас же по выходе из печати первых трех частей романа, последующие его три части были запрещены по причине предосудительности содержания. Одновременно последовало и запрещение продавать вышедшие части, что фактически означало изъятие произведения из умственной и литературной жизни.

Положение писателя оказалось сложным, чтобы не сказать двусмысленным. Он был автором большого произведения, и этого произведения как бы не существовало. О романе нельзя было писать, упоминать в печати, было поставлено под сомнение само его направление – сатирического обличения и бытописания. К тому же был нанесен удар по чисто житейскому, финансовому положению Нарежного. В 1813 году он женился и оставил службу в Горной экспедиции, полагая, видимо, что литературный труд даст ему необходимые средства. Но через год после катастрофы с «Российским Жилблазом», в 1815 году, Нарежному пришлось вновь искать службу. Он поступил в инспекторский департамент (вошедший позднее в состав Главного штаба), где прослужил около пяти лет, до 1821 года.

Но несмотря на все невзгоды, Нарежный продолжает упорно работать. Отныне все его писательские устремления связаны с большой прозаической формой – с романом преимущественно. В 1818 году он передает Вольному обществу любителей российской словесности свой роман «Черный год, или Горские князья», начатый, возможно, еще до «Российского Жил-

---

[8] См.: Р. Ю. Данилевский. Шиллер и становление русского романтизма. – Сб. «Ранние романтические веяния. Из истории международных связей русской литературы». Л., «Наука», 1972, с. 41.

[9] В. Нарежный. Славенские вечера. СПб., ч. I, 1826, с. I, III–IV.

блаза», вскоре после возвращения с Кавказа. Однако Вольное общество не поддержало Нарежного: шокировала стилистическая и языковая грубость, а также шутки «на щет религии и самодержавной власти»,[10] и роман напечатан не был. Появился он лишь после смерти автора в 1829 году.

Спустя четыре года, в 1822 году Нарежный печатает роман «Аристион, или Перевоспитание». Через два года выходят «Новые повести В. Нарежного» и роман «Бурсак». А в следующем году, через две недели после смерти писателя, вышли его «Два Ивана, или Страсть к тяжбам». В архиве Нарежного остался еще один роман, над которым он работал в последние годы и завершить не успел, – «Гаркуша, малороссийский разбойник». Увидел свет этот роман лишь в советское время.[11]

Таким образом, Вяземский, говоря о четырех романах, написанных Нарежным, уменьшил эту цифру на треть: он подразумевал «Российского Жилблаза», «Аристиона», «Бурсака» и «Двух Иванов», не зная о существовании еще «Черного года» и «Гаркуши».

В творческой биографии Нарежного бросаются в глаза некоторые общие, важные для его художественного облика черты. Нарежный был широко образован, его произведения обнаруживают воздействие самых различных источников: помимо уже упоминавшихся Шиллера, Оссиана, помимо русских писателей XVIII века, налицо его знакомство с античной литературой, с Шекспиром, с Сервантесом, Лесажем, с английским нравоописательным романом XVIII века, с немецким Просвещением, с древней русской литературой, не говоря уже о массовой романной, преимущественно лубочного характера литературе.

Но преобладающее направление, строгий стилистический отбор и обработку этих импульсов указать трудно, что имело и отрицательные, и позитивные последствия. Не раз – современники, а затем исследователи обращали внимание на необработанность и грубость вкуса Нарежного. Это так, но в то же время у него была свобода и широта нетрадиционалиста, позволявшие ему не подчиняться господствующим литературным нормам.

С этим гармонировало и относительно отъединенное положение Нарежного в литературной жизни. Отъединенность эту не следует преувеличивать, но факт тот, что в окружении Нарежного крупных или даже сколько-нибудь заметных литературных имен не видно. К существующим литературным объединениям писатель также не примыкал; не только «Арзамас» или «Беседа», но даже покровительствовавшее Нарежному Вольное общество любителей российской словесности в число своих членов его не включало. По положению своему Нарежный был мелким чиновником, «связей с высшими кругами не имел и поэтому остался вдали от верхов русской литературы». «Худородный Нарежный» «должен был делиться своими литературными интересами с канцелярскими коллегами; меценатами его было также канцелярское начальство».[12]

Наконец, еще одна любопытная черта. Среди первых русских романистов бывали такие, которые походили на своих героев, как бы вырабатывая своей собственной биографией необходимый художественный материал. О Федоре Эмине, писателе XVIII века, авторе ряда романов, Карамзин заметил в «Пантеоне российских авторов»: «Самый любопытнейший из романов г. Эмина есть собственная жизнь его…» О Нарежном этого не скажешь, и все же в его жизни было немало романного. Были крутые и не вполне объяснимые переломы, непроясненные ситуации, так напоминающие тайны романического персонажа. Было и дальнее странствие, путешествие в экзотическую страну, не только предваряющее типичный для романной конструк-

---

[10] Из отзыва рецензировавшего роман А. Е. Измайлова (см. Н. Л. Степанов. Романы В. Т. Нарежного. – В кн.: В. Т. Нарежный. Избр. соч. в 2-х томах. М., Гослитиздат, т. I, 1956, с. 22).

[11] В 1931 году в украинском переводе, вышедшем в Харькове, в издательстве «Рух», и в 1956 году в оригинале в указанном выше издании «Избранных сочинений» Нарежного.

[12] Ю. Соколов. В. Т. Нарежный (Два очерка). – В кн.: «Беседы. Сборник общества истории литературы в Москве», I. М., 1915, с. 85.

ции мотив дороги и перемены мест, но послуживший прямым поводом для одного из романов Нарежного – «Черный год, или Горские князья». Было и противодействие враждебных обстоятельств, коварная игра роковых сил, облеченных, впрочем, в конкретные фигуры цензоров и министров. Было и покровительство могущественных лиц, выручавших порою Нарежного из беды, за что он посвящал им очередное свое сочинение. Не было только одного: счастливой развязки – непременного условия тогдашней романной поэтики. Это был роман с нетрадиционным, неблагополучным концом.

Относительное признание пришло к Нарежному лишь с выходом «Бурсака», буквально «под занавес», не принеся ему материального благополучия и не упрочив его общественного положения.

Обстоятельства кончины писателя, последовавшей 21 июня 1825 года, таинственны. Есть сведения, что Нарежный «был подобран пьяный в бесчувственном состоянии где-то под забором». Если это так, – указывает Н. Белозерская, – то становится понятным почти полное умолчание о его смерти газет и журналов. Только «Северная пчела» (1825, № 75) откликнулась кратким извещением, да «Московский телеграф» уже позднее, в связи с выходом «Двух Иванов», обронил глухой, но выразительный намек на «обстоятельства»: «В. Т. Нарежный, скончавшийся в июле сего года, подавал некогда большие о себе надежды. Обстоятельства – тяжелая цепь, часто угнетающая таланты, остановила и Нарежного на его поприще…»[13]

[13] «Московский телеграф», 1825, ч. IV, № 16, с. 346.

III

Конечно, титул первый («первый русский романист») всегда условен. У любого литературного деятеля, в котором мы видим новатора, всегда найдутся предшественники, близкие или дальние. И все же у критиков-современников, как впоследствии и у литературоведов, были основания настаивать на приоритете Нарежного как романиста. По крайней мере, романиста нового времени, стоявшего у истоков классического русского романа.

Дело в том, что в начале XIX века в русском романе происходит существенная и далеко идущая переакцентировка. Роман предшествующего века, каким он был представлен в творчестве Ф. Эмина, а также – в более низком лубочном варианте – в многочисленных полуоригинальных и открыто подражательных поделках, это был роман приключенческий, авантюрный, откровенно экзотичный. Несбыточность и мечтательность выступали почти синонимами романического. Теперь акцент передвигается на «нравы» – в современности или в прошлом. В предисловии к первому же роману «Российский Жилблаз» Нарежный объявляет свою цель – «описывать беспристрастно наши нравы». Выражение «нравоописательный роман» (наряду с «историческим романом») приобретает определенность термина. В 1836 году А. С. Пушкин констатирует: «Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер Скотт служили им образцами». [14] До исторического романа в собственном смысле слова (и соответственно до следования Вальтеру Скотту) Нарежный не дошел, но первая часть утверждения – о романе нравоописательном, вдохновляемом примером Лесажа – целиком к нему применима.

Переакцентировка находит отражение во внутренней полемике – в сюжете и размышлениях персонажей. В «Аристионе» и «Российском Жилблазе» Нарежный конструирует такую ситуацию, когда чтение авантюрно-лубочных романов оказывает губительное воздействие на персонажа произведения.

В «Аристионе» испорченный и легкомысленный главный герой, молодой человек, почитает такие книги, как «Полночный колокол», «Пещера смерти», «Таинства удольфские» и т. д. В «Российском Жилблазе» знакомство с «Бовой Королевичем», «Принцессой Милитрисой» и прочими подобными сочинениями сыграло не последнюю роль в том, что княгиня Дуняша оставила своего мужа и пустилась в свет; вслед за отъявленным мерзавцем и соблазнителем князем Светлозаровым. Последний случай интересен скрытым параллелизмом к «Дон-Кихоту» Сервантеса: обманутый и оставленный муж учиняет расправу над книгами («Мерзкие сочинения… да будет терпеть такие же муки во аде ваш сочинитель, как здесь поступлю я с вами…»), подобно тому как священник и цирюльник обрекают на аутодафе романы, помрачившие сознание хитроумного идальго.[15] Полного освобождения Нарежного от традиции, однако, не произошло: ниже мы увидим, как испытанные сюжетные схемы старого романа продолжали свою жизнь в новом материале, под новым покровом.

Итак, с понятием современного романа все более связывалось представление о «нравах» и «нравоописании». Но это должно было быть достаточно подробное, детализированное нравоописание (роман обычно состоял из двух и более частей) и в то же время описание широкое по охвату материала. Момент протяженности – во времени и пространстве – превращался в конструктивный фактор. Для романа мало одной сферы жизни, одного ограниченного пространства, будь то помещичья усадьба или городской особняк; необходимо было объединение

---

[14] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, М. -Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 406.

[15] Аналогичная сцена в IV части «Российского Жилблаза»: отец и брат некоего Якова, неудачливого сочинителя трагедий, учиняют расправу над произведениями, ввергнувшими его в соблазн. «Я должен был всей библиотеки братниной переводить заглавия, и при малейшем сомнении отец клал книгу в огонь, приговаривая: «Исчезни, нечистая сила!» Это откровенная реминисценция из «Дон-Кихота».

этих сфер, переход из одной в другую, скажем, из столичной в провинциальную, из городской в сельскую (или наоборот). Создавался широкий пространственный образ: в худшем случае региона, края, в лучшем – страны, государства. На романе этого периода явственно запечатлено стремление к максимально полному национальному самосознанию.

Отсюда видно, почему в начале романного развития в России такое значение приобрел роман плутовской. Западноевропейская традиция плутовского романа от анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса» до лесажевской «Истории Жиль Блаза из Сантильяны» и последующих произведений создала определенный тип мироощущения, противостоящий миру рыцарского романа. На смену герою, наделенному добродетелями, выступил человек недостатков и пороков – «антигерой»; рыцарские приключения заменялись рядом злоключений и проделок сомнительного свойства; место подвигов заняли махинации; мир дегероизировался, снимался с ходулей, превращался в повседневную жизнь неидеализированного, грешного человечества. Все это легко применялось к русским условиям – и к русской литературной ситуации. Ведь, с одной стороны, традиция плутовского романа противостояла лубочной героике столь популярного в России романа авантюрного (а также добродетельным персонажам в литературе Просвещения), а с другой – побуждала к нелицеприятному наблюдению и воссозданию современной жизни. Словом, в этой традиции заключался сильный стимул к нравоописанию, причем в его широком, романном выражении.

Один уже выбор плута в качестве центрального персонажа вел за собою предельное расширение всей конструкции романа. Как глубоко объяснил М. М. Бахтин, пикаро по своей природе наиболее пригоден для смены различных положений, для прохождения через различные состояния, что предоставляло ему роль сквозного героя. Далее, плут по своей психологии и, можно сказать, своей профессиональной установке наиболее близок к интимным, скрытым, темным сторонам человеческой жизни. И, наконец, в эту жизнь плут входит на правах «третьего» и (особенно если он в роли слуги) низшего существа, которого никто не стесняется и перед которым, следовательно, скрытая домашняя жизнь предстает особенно широко и откровенно.[16]

Все это можно наблюдать в «Российском Жилблазе» Нарежного. С того времени, как Гаврило Симонович Чистяков, главный персонаж этого романа, оставил родную Фалалеевку, он побывал в десятке мест – и в помещичьей усадьбе, и в монастыре, и в уездном городе, и в губернском, и в Москве, и в Варшаве. Он сменил множество занятий, прошел через различные состояния: находился под судом и заключался в тюрьму; был приказчиком московского купца Саввы Трифоновича; учеником «метафизика» Бибариуса; секретарем вельможи Ястребова и одновременно его Меркурием, исполнителем интимных поручений; был он и слугой двух господ – господина Ястребова и его жены одновременно. Затем – секретарем некоего Доброславова, одного из руководителей масонской ложи, и по совместительству членом этой ложи; затем – камердинером и секретарем богатого откупщика Куроумова; затем был на службе у князя Латрона, проделав путь от его привратника и тайного осведомителя до «полновесного секретаря», ближайшего помощника и советника.

Поистине он исходил всю Россию, поднимался от низших ее рядов до самых высших, если учесть, что Варшава – подцензурная замена царской столицы – Петербурга (см. об этом в комментариях к роману), что в князе Латроне угадываются черты всесильного временщика Потемкина и что, повествуя о связи Латрона с «принцессою, которая правит здесь королевством почти неограниченно» и выбирает любовников из одного тщеславия, «дабы могла сказать целой Европе: «Рекла и бысть!» – повествуя об этом, романист не остановился и перед довольно прозрачными аллюзиями на саму царицу Екатерину II.

[16] См.: М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975, с. 275–276.

В смысле охвата различных сфер и углов жизни, в смысле панорамности все это решительно превосходило «Пригожую повариху» М. Д. Чулкова (1770), это, впрочем, замечательное произведение, законно считающееся первым опытом русского плутовского романа и предшественником «Российского Жилблаза», в частности благодаря обстоятельству и неприкрашенному изображению отечественных нравов.[17] Но диапазон «Пригожей поварихи» заведомо предопределен тем, что это так называемый женский вариант пикарески, диктующий более ограниченный набор ситуаций (героиня лишь как проститутка, любовница или возлюбленная), хотя типаж персонажа, угол зрения – снизу верх, с позиции существа подчиненного и неполноправного – были в общем сходными и у Чулкова, и у Нарежного. В «Российском Жилблазе», кстати, более широкий охват жизни подчеркнут тем, что женский вариант плутовского романа входит сюда на правах части или, точнее, частей: по крайней мере, дважды героини рассказывают историю своей жизни – вначале Ликориса, сестра актера Хвостикова и будущая возлюбленная Гаврилы Симоновича; а затем – Феклуша, его жена. И эти рассказы ничем не уступают исповеди Мартоны, «пригожей поварихи»: те же продажные ласки, та же бесконечная череда переходов – от одного любовника или содержателя к другому.

Вообще многочисленные вставные рассказы, будучи по традиции необходимой принадлежностью романа, необычайно расширяют художественную перспективу «Российского Жилблаза» в одном направлении. Как правило, они дублируют жизненные перипетии заглавного персонажа, перекликаются с ними или даже их усиливают. Так, спутники Чистякова по дороге в Варшаву рассказывают свои жизненные истории, из которых каждая варьирует историю плута, прошлеца, странника, меняющего положения и профессии. Мир предстает как огромное скопище разного рода ловкачей и жуликов, ищущих легкой наживы и удачи.

Но при всех изменениях своего социального статуса Чистяков как главный персонаж остается зависимым, подчиненным, слугой – безразлично, у какого хозяина и с какими, узкими или широкими, возможностями действия. Он всегда обслуживает кого-то, знает интимные стороны жизни своего господина, видит всю подноготную, все сокровенное. И среда актёров, с которыми временами сближается не только офицер, эпизодический персонаж, но и Гаврило Симонович, вполне гармонирует с этим положением, ибо актерское амплуа отчасти близко к функции обслуживания и в то же время создает в подходе к действительности особую откровенность и свободу от условностей. Даже на закате своей карьеры Чистяков поселяется у помещика Простакова на правах друга дома, иначе говоря – приживальщика. Обостренный взгляд на домашние, непарадные жизненные отправления пронизывает все повествование.

И что же открыл этот взгляд? Всеобщее посрамление справедливости, порчу нравов, развращение – до того сильные, что никто уже не стесняется и не прибегает к сокрытию порока, к лицемерным покровам. Какая-то безудержная откровенность, предельный цинизм исповедуются персонажами романа. Князь Светлозаров, он же Головорезов, рассказывает, что главное его развлечение в детстве состояло в том, чтобы собрать слуг и велеть «им бить друг друга»; тогда он «не мог налюбоваться, видя кровь, текущую из зубов и носов, а волосы – летящие клоками». Не уступает помещикам и откупщик Куроумов, украсивший свои покои «кнутьями и пуками лоз», ибо он «слыхал, что знатные отличаются, между прочим, от других и тем, что жестоко наказывают людей своих…». Но, конечно, кульминация развращенности, подлинная вакханалия бесстыдства – это образ жизни в доме князя Латрона. Гадинский, секретарь Латрона, дает новоприбывшему Чистякову полезные советы: «Выкинь из головы своей старинные слова, которые теперь почитаются обветшалыми и совершенно почти вышли из употребления. Слова сии суть: добродетель, благотворительность, совесть, кротость и прочие им

[17] См.: Г. Макогоненко. Русская проза в эпоху Просвещения. – В кн.: «Русская проза XVIII века». М., «Художественная литература», 1971.

подобные. Я думаю, что слова сии скоро совсем выгнаны будут из лексиконов всех языков на свете, да и дельно. Кроме сумы, ничего не наживешь с ними».

В этих саморазоблачительных исповедях и наставлениях немало, конечно, от литературы Просвещения, в частности от сатирической русской журналистики последней трети XVIII века – типа «Живописца» Новикова или «Почты духов» Крылова. Сами говорящие фамилии, открытые (Головорезов, Гадинский) или скрытые (Латрон происходит от латинского слова «разбойник»), играют роль клейма, гневно выжигаемого рукою палача-сатирика. В этой манере, отчасти напоминающей сатирическое бытописание романа А. Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (1799–1801), где также действовали Негодяев, Развратив, Распутин, Лицемеркина и т. д.,– в этой манере было немало желчно-язвительного, хлесткого, беспощадного и прямолинейного.

Однако в романе Нарежного ощущается и другая манера. Юмор «Российского Жилблаза» довольно многоцветен, разнообразен по своей стилистической окраске и источникам. Здесь и комизм непонимания, провинциальной наивности, когда впервые попавший в Москву Гаврило Симонович никак не может приладиться к столичным нравам. Здесь и комизм одураченного простодушия, доверчивости, как в случае с добрым Простаковым, чуть было не оказавшимся на уде у князя Светлозарова (то есть Головорезова). Здесь, наконец, и тот особенно тонкий и далеко идущий комизм, который можно проиллюстрировать жалобой поступившего в актеры плута-офицера: он хотел с помощью жены-актрисы повести обеспеченное существование, а та, на беду, оказалась «настоящая Лукреция»! Аналогичный эпизод есть в лесажевском «Жиль Блазе» (возможно, Нарежный прямо им и вдохновлялся) – когда актер жалуется на свою участь: он-де женился на актрисе в надежде, что она не даст умереть ему с голоду. «И надо же, чтоб среди всех странствующих актерок нашлась одна добродетельная и чтоб она досталась именно мне». Друзья на прощанье желают актеру найти «свою супругу переменившейся и выгодно пристроенной» (кн. II, гл. IX). Именно по этому рецепту разворачиваются события в другом эпизоде романа Нарежного: брат Ликорисы, актер, сумел поправить свои дела в частности потому, что его жена «пообразумилась»: «Добрые приятельницы растолковали ей, что не всегда полезно слишком много дорожить своими прелестями». Перед нами типичный комизм мира пикарески, когда порочность воспринимается как нормальное состояние, а добродетель как некое неудобство и анахронизм, от которых поскорее надо избавиться. Тут нет морального негодования, нет сатирического нажима; есть глубокая, хоть внешне непритязательная ирония.

Иные картины в романе поданы в столь неопределенном мерцающем свете, что создается впечатление о моральной нейтральности или даже безразличии. Между тем скорее перед нами жизненная сложность и многоликость. Таково изображение масонского общества благотворителей света, в которое довелось попасть Гавриле Симоновичу.

Принято говорить о резко обличительном, сатирическом направлении этого описания – и действительно, картины пьяный развратных оргий, устраиваемых под видом духовных бдений, говорят сами за себя. Но в то же время патрон этого общества, некий господин Доброславов, занят действительно какими-то благотворительными делами – по крайней мере, помогающий ему как секретарь Чистяков ни разу не имел случая в этом усомниться. И способы выманивания денег у членов общества, прожигающих те богатства, которые надлежит употребить «на вспомоществование бедному человечеству», создают нечто в роде системы филантропического мошенничества или мошеннической филантропии. При этом Доброславов и его помощник Чистяков не собираются увещевать своих жертв, освобождать их от «дурачеств» – они просто приноравливаются к порочным страстям с тем, чтобы «переменить направление их по своим видам». Благотворители света строят свою деятельность с расчетом на всеобщую и глубокую испорченность человечества, и они, как правило, не ошибаются.

В подтексте романа, несмотря на просветительские и подчас морализаторские – впрочем, умеренно морализаторские – интонации, чувствуется глубоко безотрадный, трезвый взгляд на

человеческую природу. И в этом Нарежный шире традиционно-просветительской идеологии, а также предромантического, сентименталистского культа естественного развития.

Знаменательны воззрения, да и весь облик, вся жизненная история мудреца Ивана Особняка, с которым встречается Чистяков к концу своих странствий (прототипом этого персонажа считают украинского философа Григория Сковороду). Узнав, что Гаврило Симонович возвращается из Варшавы, не найдя там счастия, Особняк изливается в горьких инвективах против столичной жизни, ибо «всякий город есть море глубокое и пространное, в нем же гадов несть числа».[18] Можно подумать, что мудрец противопоставляет городскому разврату невинность сельской жизни! «…Разве не прекрасна природа в сельской красоте своей? Разве она скупится дарами своими?…» Но это не совсем так. Из жизнеописания Ивана выясняется, какую длинную череду разочарований уготовила ему судьба, в том числе и разочарование в деревенской гармонии. Вначале Иван, выпускник Киевской академии, понаторев в философии и богословии, читал в городе проповеди о кафедры; но успехов в насаждении добродетели не добился. Потом, вняв совету умирающего отца: «Люби красоту и избегай известности», – решил переселиться в деревню, чтобы вступить во владение «двухсот творений, называемых крепостными». Решив, что «крепостной человек есть точно человек мне подобный», имеющий «все преимущества души и тела», новоявленный помещик обратился к крестьянам с речью, «в которой, объяснив им право их и преимущества, яко таких же человеков, просил не отягчать себя лишним повиновением моим прихотям…». Результат оказался неожиданным: «бесчинство, похабство, леность и вообще разврат воцарились в сельце моем», – и имение пришлось отдать в опеку. Новый хозяин «тут же пересек всех, правых и виновных», посещая деревню, «всякий раз сдирал кожи с крестьян и чрез два года сделал их по-прежнему трудолюбивыми и трезвыми крестьянами». Это навело Ивана на горькие размышления: «Боже мой… Неужели такова натура человека, что одним игом гнетущим можно заставить его идти прямою дорогою!»

Побывал еще Иван снова в Киеве в роли «учителя моральной философии при тамошней академии»; говорил смелые проповеди, в которых обличал пороки и злоупотребления. Но успехов в исправлении нравов опять-таки не достиг, вызвав всеобщее озлобление и ненависть.

И вот в результате всех разочарований Иван, прозванный Особняком, то есть человеком, живущим «особо, отдельно» (В. И. Даль), решился оставить должность наставника, не оставив своих принципов честной и праведной жизни. И – странное дело! – то, чего он так добивался, пришло само собою: люди искали его совета, слушались наставлений. Не потому ли, что в моральном примере мудреца не было уже никакой обязательности, авторитарности? Да к тому же, зная человеческую природу, он уже «не требовал невозможного или даже трудного».

Нарежный не отказывается от просветительской веры в возможность совершенствования, но корректирует и умеряет ее довольно трезвым и почти безотрадным взглядом на людские слабости.

А что представляет собою главный персонаж романа? Следует помнить, что от плутовского романа еще нельзя ожидать строгой характерологии в более позднем смысле этого слова, выработанном реализмом XIX века. Цельность пикаро как характера еще проблематична; более или менее четко можно распознать лишь два момента его психологической эволюции: «пробуждение» реального понимания жизни вначале и раскаяние – моральное «воскрешение» или просто отшельничество, отдаление от мира – в конце. Между этими крайними вехами в длинной веренице переживаемых героем событий нет строгой логики и последовательности; отсюда возможность их бесконечного продолжения, «нанизывания», а также внутренней перестановки, словом, композиционная аморфность. Но если у героя плутовского романа нет определенной характерности, то есть некое общее психологическое направление, отличающе-

[18] Скрытая цитата из стихотворения И. М. Долгорукова «Парфену» (строфа XV) сб. «Поэты-сатирики конца XVIII – начала XIX века». Л., 1959.

еся отсутствием резкости и широтой. Он не герой зла, хотя постоянно творит зло; он скорее прагматик, приспосабливающийся к окружающим обстоятельствам, – увы, чаще дурного, чем благородного свойства. А. Галахов сказал о лесажевском Жиль Блазе: «Он, как и большинство смертных, столько же готов на честное дело, сколько и на плутни, смотря по тому, что лучше ведет к устройству благоденствия».[19] Это в общем применимо и к «российскому Жилблазу», действующему нередко импульсивно, под влиянием минуты, способному и на великодушие, но в то же время – особенно в конце его карьеры, на службе у князя Латрона, – опускающемуся до низин подлости и бесчестия. Он жаден к впечатлениям жизни, любознателен, тянется к учению, к книгам, невольно обнаруживая в своих художественных симпатиях и знание реальности, и демократический вкус (пикаро обычно выходец из низов; Гаврило Симонович хотя и «князь», но худородный, малоимущий). Проводя целые ночи в чтении, осилив горы книг, он разочарован: «Везде ложь, фанатизм, приноровление ко времени, старание угодить большим людям».

В то же время едва ли можно сказать, что у героя плутовского романа есть какая-нибудь твердо намеченная линия, хорошо продуманная программа, кроме общего желания пробиться вверх или остаться на поверхности. В отношении Гаврилы Симоновича это особенно верно, ибо даже его уход из дома, начало странствований не вызваны какой-то определенной целью – скажем, поисками сбежавшей жены или похищенного сына (что иногда утверждается в научной литературе). Нет, Чистяков оставляет родные места просто потому, что ему, одинокому, здесь не по себе («Сноснее страдать между людьми, не знающими тому причины, страдать под небом незнакомым…»); и если затем на жизненных дорогах он встречается и с сыном и – неоднократно – с женой, то это происходит помимо его воли, в результате стечения обстоятельств. Жизнь несет Гаврилу Симоновича, как поток – щепку.

Подобная духовная организация персонажа и вытекающая отсюда особенность действия важны именно для романа как жанра. С одной стороны, роман связан с определенным развитием личного начала – инициативы, самосознания, любовного порыва, стремления к счастью и т. д. Но с другой стороны, это начало не должно быть чрезмерным, нуждается в смягчении и, что ли, дозировке – иначе вся конструкция романа грозит быть опрокинутой. Теоретики романа на пороге XIX века неоднократно настаивали на этих ограничениях: Шеллинг в «Философии искусства» писал, что романист не должен слишком держаться за своего героя, который, открывая доступ разнообразному материалу, напоминает «перевязь вокруг целого снопа»;[20] Гете же (в «Годах учения Вильгельма Мейстера», кн. V, гл. 7) проводил параллель между романом и драмой: «Герою романа надо быть пассивным, действующим в малой дозе; от героя драмы требуются поступки и деяния. Грандисон, Кларисса, Памела, Векфильдский священник и даже Том Джонс – если не всегда пассивные, то во всяком случае тормозящие действие персонажи, а все события в известной мере сообразуются с их образом мыслей. В драме герой ничего с собой не сообразует, все ему противится, и он либо сдвигает и сметает препятствие со своего пути, либо становится их жертвой».

Легко понять, что все это связано с романной широтой, с тенденцией к универсальности. Что было бы, если, например, Гаврило Симонович проявил неожиданный максимализм и либо победил обстоятельства, либо стал их «жертвой»? Действие оказалось бы исчерпанным и включение в него новых сфер жизни не произошло. Способность романного героя быть сквозным персонажем есть в то же время его проницаемость для все нового и нового материала. Тип плута, пикаро оказался для этой цели одним из самых приспособленных.

В романе Нарежного наблюдается даже избыток – и немалый – событийности и действия; впрочем, это уже связано не столько с природой главного персонажа, сколько с известной

[19] А. Галахов. История русской словесности, древней и новой. СПб., т. II, 1868, с. 180.

[20] В.-Ф. Шеллинг. Философия искусства. М., «Мысль», 1966, с. 382.

приверженностью автора к рамкам старого романа – того жанра, для которого романическое было синонимом заведомо несбыточного и сказочного. Смело раздвигая эти рамки с помощью нравоописания, местного бытового и социального колорита, Нарежный нередко оставался им верным в конструировании интриги и ведения действия. Конечно, тайна происхождения персонажа, похищение ребенка, неожиданные встречи и т. д.– все это были довольно обычные ходы, заимствованные нравоописательным и реальным романом у романа авантюрного; однако Нарежный явно перебарщивает по части этих ходов, нагромождая их один на другой и оснащая весьма искусственной мотивировкой (таковы, например, довольно запутанные мотивы похищения Никандра богатым Причудиным). Нарежный, как хорошо сказал А. Галахов, не сумел полностью выйти из-под «влияния сказочной настроенности». «Он переменил сцену действия, выбрав для нее Россию, вместо чужих земель: это делает ему честь; но, при замечательном своем даровании, он еще не покинул обычая придумывать действие похитрее и запутаннее».[21]

Не вышел Нарежный до конца и из-под «настроенности» другой: сентиментально-нормативного свойства. Плутовской роман, мы говорили, самим духом своим был направлен против традиционно добродетельного героя (противопоставляя ему антигероя); тем не менее некий остаток нормативности сохранился в художественном мире «Российского Жилблаза». Сохранился в лице Чистякова-младшего, Никандра, корректирующего своим жизнеописанием судьбу Гаврилы Симоновича. И Никандру довелось познать изнанку жизни, входить в чужие дома на правах «третьего», то есть или слуги, или помощника художника Ходулькина, или ученика метафизика Трис-мегалоса, но все это для того, чтобы показать образец добродетели, совершить подвиги, напоминающие рыцарские (спасение Наташи от злодеев), а главное – чтобы, пройдя через искусы страсти и соблазна, сохранить верность своей возлюбленной Елизавете.

Историю своей жизни рассказывает сам главный персонаж, Гаврило Симонович. Это в традициях плутовского романа, извлекающего из личной формы повествования, Ich-Erzahlung, психологический и нравственный эффект. Ведь возникает «напряжение между я как аморально действующим плутом и как морально рефлектирующим рассказчиком».[22] «Тогда» и «теперь» постоянно сталкиваются, особенно часто в рассказе о службе Чистякова у князя Латрона, ибо мы знаем, что это апогей нравственного растления антигероя. «Не понимаю сам, отчего совесть в то время меня не беспокоила! О, сила примеров и разврата! Как мог я не содрогнуться, жертвуя невинностью доброй девицы? Не я ли был виною ее погибели? Теперь я так думаю, но тогда!..» Ретроспективная точка зрения рождает и особую откровенность, доверительность персонажа; ведь ему уже нечего скрывать, он – «другой» и поэтому судит о себе в прошлом без боязни и обиняков. Словом, повторяю, это в традициях жанра пикарески.

Тем не менее Нарежный не остался им во всем верен, объединив личную форму рассказа от лица Чистякова с авторским повествованием, обнимающим главным образом события жизни Простакова и его семейства. Художественные мотивы объединения очевидны: автор хотел, что ли, преодолеть точку зрения плута, дать более широкую художественную перспективу, подобно тому, как это сделал позднее Гоголь, чьи «Мертвые души» рассказаны в перспективе не центрального персонажа, а повествователя. Однако не менее очевидно, что заметного успеха Нарежный не добился: обе линии соединены довольно механистично, и через повествовательную ткань романа проходит нечто вроде шва, который виден и в событийной его части – в соединении ситуаций, событий, аксессуаров реального быта с традиционными романными ходами и схемами.

---

[21] А. Галахов. Указ, соч., с. 178.

[22] Jurij Striedter. Der Schelmenroman in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte des russischen Romans vor Gogol. Berlin. 1961, S. 19.

IV

В произведениях, опубликованных (или предложенных к опубликованию) после «Российского Жилблаза», Нарежным испробованы другие возможности романного творчества.

«Черный год, или Горские князья» представляет собою сложный жанровый сплав: здесь традиции и плутовского романа, и романа воспитания, или, точнее, перевоспитания (речь идет о перевоспитании главного персонажа осетинского князя Кайтука), и романа политического (правда, в несколько сниженной, травестированной форме), и, наконец, романа авантюрного, романа с приключением.

Вместе с тем это роман восточный – качество, приобретающее у Нарежного довольно разнообразные оттенки. С одной стороны, это экзотика, восточная яркость и необычность, даже условность. Однако условность не абсолютная; Нарежный, в отличие, скажем, от Крылова, автора «Каиба», описывает Восток по личным впечатлениям,[23] и он настаивает на подлинности экзотического колорита.

С другой стороны, в само понятие восточного колорита я восточной специфики Нарежный вводит моменты иронии. Постоянно проводятся параллели между восточным и европейским: «Советники мои, по примеру азиатских, а может быть и европейских советников, потупили глаза долу…» Таких аналогий очень много. Да и само имя героя – князь Кайтук двадцать пятый – возникло из его «довольного знания в европейской науке – политике», ибо «там положено непременным правилом, чтобы владетельные лица в одной земле различались менаду собою счетом, следуя порядку вступления в управление своею областью». Довольно рискованная параллель, если вспомнить, что и в России владетельные лица «различались между собою счетом»!

Тем не менее было бы неверно считать, что восточные одежды и восточный колорит – это нечто вроде аллегорического покрова. Для романа Нарежного понятие аллегории уже узкое. Помимо довольно заметной степени этнографизма, пусть еще условного, во многом беллетризированного, но все же обличающего порою живые проблески местного колорита, – помимо этого, понятие «восточного» важно и в другом смысле. Кажется, еще не отмечено в нашей науке, что Нарежный – один из первых, кто придал этому понятию политический смысл; словом, кто стоял у истоков традиции, подхваченной затем демократической критикой, особенно Белинским. Под этим понятием подразумевалось все отсталое, косное, невежественное, бесчеловечное, жестокое. «Как скоро победим – я дозволю вам целые три часа грабить княжество, – говорит Кайтук XXV воинам, – делать, кому заблагорассудится, насилия, а старых и молодых брать в плен… Посудите, храбрые люди, сколько вдруг предстоит вам выгод!» Это вызывает в памяти слова Белинского о том, что для азиатского деспота «ценность человеческой крови… нисколько не выше крови домашних животных».[24] Обозначение «азиатское», «восточное» не заключает в себе ничего национально-оскорбительного, ибо оно берется типологически – как обозначение устаревших сфер жизни. Восточные начала жизни есть и в России, и в западноевропейских странах, где они подлежат скорейшему устранению и преодолению.

---

[23] Время написания романа точно неизвестно. Ряд исследователей (Ю. Соколов, Н. Степанов, Е. Соллертинский) считают, что роман написан одновременно или после «Российского Жилблаза», Но существует мнение, что роман написан на Кавказе или вскоре по возвращении Нарежного в Петербург, то есть еще до «Российского Жилблаза» (Н. Белозерская, В. Шадури, В. Комбай). Об этом свидетельствует, как считает Н. Белозерская, «живость отдельных сцен и характеристик», «множество местных выражений и этнографических подробностей, которые не могли целыми годами удержаться в его памяти, при непрерывной литературной деятельности» (Н. Белозерская. Указ, соч., ч. 2, с. 56). Возможно, это так. Однако едва ли Нарежный, передавая роман в 1818 году для опубликования, отказался от его доработки.

[24] В. Г. Белинский. Указ, соч., т. V, с. 99.

В духе философской повести XVIII века Нарежный нередко взирает на устаревшие формы жизни с некой наивной точки зрения. Собственно, есть различные виды наивности; один вид – это точка зрения здравого рассудка, свободного от ложного опыта, предубеждений и т. д. Такова точка зрения Простодушного в одноименной повести Вольтера, Амазана в его же «Царевне вавилонской» – людей, взирающих на извращенные европейские нравы и порядки со стороны и просто не понимающих их смысла. Другой вид – это наивность деспота, не сомневающегося в своей правоте и не допускающего возможности действовать иначе. Вспомним начало «Каиба» Крылова: государю понравилась похвала стихотворца, и он за это пожаловал его в евнухи. В «Черном годе» наивность этого рода, пожалуй, занимает главное место, воплощаясь подчас в замечательно смелые образы.

Таков образ нагайки. Оказывается, приближенные князя Кайтука учредили Орден Нагайки, со своим подробным уставом. Награжденный этим орденом получает «дюжину полновесных ударов нагайкою», после чего именуется «действительным членом ордена»; одновременно он вносит в княжескую казну десять денежных единиц, юзлуков, дабы князь «для чужой чести» не терпел напрасных убытков. Эта статья особенно понравилась Кайтуку, велевшему дополнить ее новой статьей: «Князь властен жаловать одного и того же человека кавалером столько раз, сколько государственная польза того потребует». Потом, когда понадобились деньги для войны, было решено лишить орденов старых кавалеров, «дабы через два часа опять раздавать оные и получить подать… Так должна судить здравая политика, и так она всегда судила». Не правда ли, блестящий образ, предвосхищающий сатиру Щедрина?

Значительно проще по своей интриге, по своему строению следующий роман Нарежного – «Аристион, или Перевоспитание». Определеннее он и по своему жанру: если в «Черном годе» моменты воспитания остаются не больше чем моментами, то здесь они обусловливают саму жанровую основу, о чем напоминает вторая часть заглавия («…или Перевоспитание»).

Упоминаемые в тексте «Аристиона» литературные примеры играют роль жанровых сигналов, ведущих полностью или преимущественно к роману воспитания. Лубочной романной беллетристике, которую некогда бездумно почитал заглавный персонаж, противостоят достойные образцы, книги, которые читают в просвещенном семействе: это Филдинг, Виланд – можно думать, как автор «Истории Агатона» (1765), первого воспитательного романа в европейской литературе, – и особенно «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо (1761), где сформулировано положение: «…Люди не бывают такими или сякими сами по себе, – они таковы, какими их сделали».

Но как роман воспитания «Аристион» имеет характерное отличие от европейского. В «Истории Агатона», так же как в классическом образце этого жанра гетевском «Вильгельме Мейстере» (чья первая часть «Ученические годы Вильгельма Мейстера» вышла в 1795–1796 гг., но, видимо, осталась незнакомой Нарежному), речь идет о развитии, о воспитании передового человека, находящегося на гребне исторической волны, вступающего в контакт с духовными силами эпохи. Персонаж романа Нарежного – обычный, почти массовидный человек, не отличающийся сильными дарованиями; к тому же уже испорченный, зараженный пороками времени. Его развитие начинается с искоренения пороков, с вытравления ложных понятий и привычек – это не воспитание, а именно перевоспитание.

Сын отставного бригадира, живущего на Украине, Аристион не чужд добрых движений души, отличается храбростью; довелось ему даже участвовать в Альпийском походе вместе с «бессмертным Суворовым». Но, поселившись затем в Петербурге, Аристион погряз в бездеятельности и разврате. Описание жизни столичной «золотой» молодежи полно острых комических деталей. Здесь вновь возникает наивная точка зрения – на этот раз наивность светского гедонизма: выключенный из службы за ничегонеделание, Аристион искренне недоумевает: «Справедливо ли… заслуженного офицера изгонять из службы за то, что он какие-нибудь полгода по домашним обстоятельствам не мог быть у должности?» Порою же наивность Аристиона

приобретает угрожающие очертания. Чтобы добыть денег для любовницы, он готов отдать под залог нескольких своих крепостных, включая преданного ему душою и телом старого дядьку Макара. От долгов, от расстроенной жизни Аристион бежит в отеческие края, под кров давно забытых им родителей, черты коих ему столь же неизвестны, «как бы ехал он представляться султану турецкому».

Таков уровень, с которого начинается движение Аристиона вверх, его перевоспитание. Для этого нужны подходящие условия, благоприятная среда, представляемая Аристиону имением некоего пана Горгония (согласно сообщаемой Аристиону версии, его родители умерли и все их имущество перешло к упомянутому пану).

В философской повести, в романе XVIII – начала XIX века нередко возникали своеобразные утопические островки – будь то владения какого-то помещика или даже целые области и страны, – островки, в которых господствуют иные, приближающиеся к идеальным узаконения и нормы. Такова страна Эльдорадо в «Кандиде», империя киммерийцев (то есть Россия) в «Царевне вавилонской», Кларан в «Новой Элоизе», Братское общество провинциальных дворян в «Рыцаре нашего времени» Карамзина и т. д. Роль утопического островка, «идеального поместья, рассадника мудрости и добродетели»,[25] достается и на долю имения Горгония, а также соседнего дома некой Зинаиды. Здесь Аристион находит обитель справедливости, умеренности, красоты, высокой культуры и вкуса. Людмила (рекомендуемая как дочь Зинаиды) поет на разных языках, в том числе и на итальянском, играет на «арфе, таком инструменте, который приличен и девицам самого знатного рода», обнаруживает «довольное познание в ботанике». Отчетливо звучит и руссоистский мотив естественности простой сельской жизни (пожалуй, даже без тех сложных обертонов, которые мы отмечали в «Российском Жилблазе»), противопоставленной городской и светской испорченности. Подобно Вольмарам, владельцам Кларана, Зинаида сумела сделать крестьян трудолюбивыми, уберечь их от пороков «больших городов», – и вот уже под воздействием увиденной им сельской гармонии Аристион пишет сочинение, в котором «прославлял… блаженство мудрого, отрекшегося от сует превратного света…».

Однако для перевоспитания Аристиона недостаточно было утопического островка – надобился еще эксперимент, основанный на мистификации. Ведь оказалось, что Горгоний не кто другой, как его мнимо скончавшийся отец, Зинаида – его мнимо скончавшаяся мать, друг Горгония Кассиан – граф Родион, отец Людмилы. Все они, сговорившись, проводят Аристиона через «испытание» (так называется одна из глав), заставляют его избавляться от «прежних заблуждений», устраивают его судьбу, соединяя с достойной избранницей. Не только Горгоний выращивает из Аристиона примерного сына и гражданина, но и его мать София (то есть мнимая Зинаида) выращивает из Людмилы примерную супругу своему сыну.

Вообще-то случай, когда персонажу оказывает покровительство кто-то более опытный и сильный, характерен для романа того времени: вспомним «Векфильдского священника» Голдсмита, где добродетельный Уильям Торнхилл скрывается до поры до времени под чужим именем, чтобы быть ангелом-хранителем притесняемых. Нужно некое вмешательство извне, мудрое наставничество, чтобы устранить несправедливость или перевоспитать порочного – еще одно проявление утопического момента, наряду с конструированием идеальной ситуации, примерного островка. Нарежный поступает в этом отношении в согласии с духом времени, однако чересчур уж прямолинейно. Даже не искушенная в требовании правдоподобия тогдашняя критика усомнилась в том, чтобы Аристион мог больше года верить в мистификацию, в которую, помимо его родных, друзей, слуг, дядьки Макара, были втянуты еще все окрестные дворяне, ибо им было приказано паном Горгонием (отцом Аристиона) «считать меня и жену мою в числе мертвых, пока не заблагорассудится нам воскреснуть».

---

[25] В. Переверзев. В. Т. Нарежный и его творчество. – В кн.: В. Т. Нарежный. Избранные романы, Academia, 1933, с. 38.

В романе Нарежного есть образ, хорошо передающий специфику проводимого здесь воспитания – его экспериментальность и искусственность, – это образ сада. Уже отмечалось, что образ сада может иметь различные художественные и эстетические функции.[26] В «Аристионе» Кассиан начинает свои уроки воспитания, даваемые главному персонажу, в саду; в садовой беседке, «простой, но красивой», «окруженной розовыми кустами в полном цвете», встречает Аристион Людмилу; затем он осматривает сад, и «мать» Людмилы говорит ей: «Знаешь ли, как Аристиону понравился сад наш и особенно цветник твоего собственного распоряжения».

Описание сада в «Аристионе» возникло, возможно, не без влияния соответствующих страниц «Новой Элоизы», но соотношение между обоими образами такое же, как между глубокими, таящими в себе неожиданные осложнения страстями Юлии или Сен-Пре и причесанными, отрегулированными эмоциями персонажей Нарежного. Элизиум в «Новой Элоизе» – это дикий, свободный уголок, которому рука Юлии дала возможность нескованного развития («все сделала природа под моим руководством»), Сад же Людмилы – это цветник, и цветы она не выращивает, а «воспитывает». Красноречивая параллель к оранжерейному воспитанию самого Аристиона!

По сравнению с первым романом Нарежного, да и с «Черным годом», Аристион производит впечатление большей упорядоченности – причем не только упорядоченности формы. Автор «Российского Жилблаза» довольно решительно обнажал противоречия, в том числе противоречия просветительства, оставляя их открытыми (вспомним неудачи Ивана Особняка). Едва ли он теперь разучился их видеть; но противоречия словно загнаны в глубь «Аристиона», приглушены, нейтрализованы универсальной воспитательной программой. Эта программа состоит в нарочитой умеренности и спокойной разумности; неслучайно и внешность Горгония дышит гармонией и согласованностью черт. От всего умеет Горгоний брать ровно столько, сколько нужно для пользы. Учителями, приставленными к Аристиону, оказались Евфросион и Полихроний, хвастуны и схоласты; последний даже вызывает в памяти (как гласит авторская ремарка) фонвизинского Кутейкина. Но это не пугает Горгония, считающего, что механическая ученость этих наставников может быть обращена во благо, если соединить ее с пониманием сути вещей, с истинным просвещением. Но почему просвещение в иных случаях ведет к пагубным последствиям, «утончает в людях разврат, увеличивает бедствия и заставляет добродетель себя самой стыдиться и даже бояться»? Роман лишь слегка касается этого вопроса, не собираясь его заострять или драматизировать.

Еще один пример обдуманной осторожности идеального воспитателя. Девиз Горгония – «делай добро всем, но веди знакомство с равными себе». Хотя бы для того, чтобы не причинять людям, стоящим на более низкой социальной ступени, излишних забот, не нарушать их образа жизни. И Горгоний занимается филантропией неузнанный, у него ряд помощников, продуманная система средств. Взрывать сложившийся стереотип отношений, побуждать людей «переменять свое сословие» Горгоний, во избежание худшего, не собирается (в этом он напоминает Вольмара).

В рамках проводимого воспитательного эксперимента следует поездка Аристиона и Кассиана по окрестным помещикам, знакомство с панами Сильвестром, Тарахом, Парамоном и Германом. Это маленький роман путешествия, в пределах большого романа; в это же время это и воспитание на наглядных примерах, преимущественно негативных; ведь живой образ, говорит Горгоний, оставит «такие впечатления, какие не всегда родит и хорошая проповедь».

Один наглядный пример красноречивее другого. Пан Сильвестр (от лат. silva – лесной, дикий) – страстный охотник, приведший в запустение все свое хозяйство. Пан Тарах – скряга, скупец, который вредит сам себе; уже обращалось внимание, что реплика одного из слуг пана Тараха – «у нас и годовая корка хлеба хранится под замком» – предвосхищает знаменитый

[26] См.: Д. С. Лихачев. Литература – реальность – литература. Л., «Советский писатель», 1981, гл. «Сады Лицея».

залежалый сухарь Плюшкина.[27] Пан Парамон – страстный игрок, кутила. Словом, «перед читателем, как и в „Мертвых душах“ Гоголя, хотя еще в грубом, необработанном виде, выступают самобытные типы, или, вернее, смело очерченные наброски типов тогдашних помещиков, с их семейной и домашней обстановкой, нравами и привычками».[28]

Предвосхищение Гоголя выражается и в самом способе подачи материала – в своеобразной панорамности, когда каждый из помещиков (панов), как в галерее, следует один за другим; в повторяющихся моментах характерологии: вначале некая предварительная информация о хозяине, которую мы получаем, например, из реплик крестьян; затем встреча с самим паном; затем, по уходе от него, обсуждение гостями (Аристионом и Кассианом) нового знакомца и представляемого им явления. При этом возможны и перекрестные характеристики, когда тот или другой персонаж (как у Гоголя) сравнивает себя с соседом. Например, Парамон говорит: «Люблю жить весело, что пользы и удовольствия проводить свое время так, как провожают соседи мои, Сильвестр и Тарах…» Вспомним реплику Собакевича: «У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».

[27] В. Данилов. Земляк и предтеча Гоголя. Отдельный оттиск из журнала «Киевская старина», Киев, 1906, с. 11–12. А. Галахов считал, что портрет пана Тараха «особенно замечателен»; он представляет «фамильное сходство с Гарпагоном великорусским, художественно представленным в лице Плюшкина» (А. Галахов. Указ, соч., ч. II, с. 183).

[28] Н. Белозерская. Указ, соч., ч. 2, с. 106.

V

В последних романах Нарежного – «Бурсаке», «Двух Иванах», «Гаркуше, малороссийском разбойнике», а также в таких произведениях из сборника «Новые повести», как «Запорожец» и «Богатый бедняк», – на первый план выходит украинская тема, украинский материал. Конечно, и раньше писатель в большой мере опирался на близкую ему с детства почву; Украина была отчасти местом действия «Российского Жилблаза». Но там украинский материал фигурировал еще на правах общероссийского; акценты на национальной специфике еще не возникли. Эти акценты начинаешь ощущать в «Аристионе» (в украинских главах) и особенно явственно в произведениях, начиная с «Бурсака». Достаточно обратить внимание на характер многочисленных авторских подстрочных примечаний: они поясняют, что такое праздник Ивана Купала и как он отмечается; кто такие вовкулаки; что такое курень; как бреются малороссийские крестьяне и т. д. Словом, налицо определенный этнографизм текста, уже проявившийся несколько ранее, в «Черном годе», по отношению к кавказскому материалу. Теперь в гораздо более сильном и, надо добавить, более естественном, подлинном виде, возник этнографизм украинской темы.

Для того чтобы возник этот акцент, понадобилось изменение общественной атмосферы. На рубеже второго и третьего десятилетия прошлого века обостряется интерес ко «всему малороссийскому» (выражение Гоголя). В 1818 году выходит «Грамматика малороссийского наречия» А. П. Павловского; годом позже – «Опыт собрания старинных малороссийских песен» Н. А. Цертелева; в том же году при участии М. С. Щепкина поставлены пьесы И. П. Котляревского «Наталка Полтавка» и «Москаль-чаривник», положившие начало новой украинской драматургии. В этом широком процессе совместились социальные импульсы и эстетические, региональные и общероссийские. Ведь, с одной стороны, интерес ко «всему малороссийскому» отвечал растущему национальному самосознанию украинцев, а с другой – вливался в общеромантическое движение русской литературы к своим народным истокам, к народной специфике, к фольклору, к исконному славянскому быту и т. д. При этом постепенно преодолевалась идилличность представлений об Украине, свойственная, скажем, Шаликову; Украина Вставала со всеми своими противоречиями – социальными, нравственными и т. д.

Для формирования русского романа все это получало дополнительный, принципиальный смысл. Вяземский, говоря о трудности написания русского романа, прибавлял: «…правда, автор наш наблюдатель не совершенно русский, а малороссийский»;[29] упоминание «малороссийского» фигурирует здесь как некое благоприятное, облегчающее обстоятельство. Дело в том, что предпосылкой романа как жанра служила сама определенность нравов, и ею-то, по общепринятому мнению, обладала украинская жизнь. Рецензент «Сына отечества» (кстати, именно в связи с «Бурсаком») писал, что заслуживают «особенного внимания черты малороссийского быту и старинных обычаев того края», которые «исчезают под шлифовкою общего просвещения».[30] Н. И. Надеждин отмечал, что для русских писателей «Малороссия естественно должна была сделаться заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и лучшие воспоминания славянской жизни».[31]

Украинский материал был «свой» и в то же время «не свой»; возникал тот эффект преломления, который проливает на вес знакомое необычный и новый свет и на современном языке называется остранением. Метафорическое и несколько странное выражение Вяземского

[29] «Московский телеграф», 1825, ч. VI, № XXII, с. 182–183.

[30] «Сын отечества», 1824, ч. 97, с. 38.

[31] Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 281.

об «оконечностях живописных» очень наглядно: перед нами как бы резкие и живописные очертания материка, увиденные с птичьего полета, притом материка окраинного – Украины.

Но для романа нужна не только живописность сферы, но и ее достаточно широкая протяженность; нужен широкий и разнообразный пространственный образ. И в этом отношении украинский материал был весьма подходящий. Относительно позднее введение крепостного права, существование Запорожской Сечи вплоть до 1775 года – все это создавало ту нескованность и хаотичность общественного бытия, которые мотивировали передвижение сквозного героя, смену им различных состояний, вхождение его в различные области жизни. Словом, создавали столь необходимые условия романного действа.

Все это проявилось в «Бурсаке». Роман выдержан в личной форме повествования – от лица центрального героя, Неона Хлопотинского, сына (как потом выяснилось – приемного) дьячка Варуха. Проходя через разнообразные переделки и приключения, пробиваясь снизу вверх, Неон повторяет путь героя пикарески; но по колоритности и своеобразию своего характера он представляет собою нечто новое, превосходя и Гаврилу Симоновича, и других сквозных героев прежних романов Нарежного. Жизненную силу этот образ получает от украинских источников, литературных и фольклорных в том числе.

Давно отмечена связь его с типом бурсака или школьника-семинариста, одного из распространенных персонажей украинской литературы, например, интерлюдий. Это простоватый, наивный и незлобивый человек, «пиворез» да и вообще охотник до всего скоромного. Порою же он впадает в семинарскую спесь и не прочь покичиться своею ученостью. Все эти черты есть и у Неона, человека добродушного и наивного. Один из источников комизма в том, что о вещах вполне обычных и естественных Неон пытается говорить выспренним слогом схоластической учености, попадая впросак и вызывая насмешки собеседников.

Что же касается описания нравов и привычек бурсаков, образа жизни в бурсе (под бурсой здесь понимается общежитие для бедных иногородних семинаристов), то эти страницы принадлежат к лучшему, что создало перо Нарежного. Эта ватага вечно голодных пронырливых подростков, добывающих пропитание то пением духовных песен и произнесением речей, то набегами на чужие огороды и сады, готовых на любые проделки, стоически сносящих наказания и побои, изображена столь колоритно, так запечатлелась в памяти, что критика, едва только вышел гоголевский «Миргород», тотчас увидела преемственность между картинами бурсы в «Вие» и в романе Нарежного.

Еще до Гоголя Нарежный вполне оценил и те возможности комического, которые вытекали из изысканной древнеримской номенклатуры бурсы. Здесь есть менторы, консул, сенат; следовательно, «почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим». Значит, и Рим не что иное, как большая бурса… Оценил Нарежный и те возможности комического, которые вытекают из столкновения наивного, неискушенного сознания со сложившейся системой школьных узаконений и правил. Такой тип сознания на первых порах воплощает Неон, который никак не может взять в толк, почему его бьют и за прилежание, и за леность, и просто так; который готов лучше оставить «надежду быть когда-либо дьяконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».

Персонаж подобного душевного склада, поступающий импульсивно, подчас смело и самоотверженно, но вместе с тем обходящий препятствия, если они кажутся непреодолимыми, уступающий давлению обстоятельства, – такой персонаж был весьма подходящим для того, чтобы и проявлять свой личный почин, и в то же время действовать «в малой дозе» (Гете) – словом, для того, чтобы стать сквозным романным героем. И писатель ведет своего героя через разнообразные положения и ситуации – из переяславской семинарии в родное село Хлопоты, и в имение помещика Истукария, где он исполняет обязанности учителя, и в столицу украинского гетмана Батурин, и в стан разбойников, и на поле боя, и в Запорожскую Сечь…

Возникает роман странствий, большой дороги, роман путешествия, какими были и «Российский Жилблаз», и «Черный год», и отчасти даже «Аристион»: момент путешествия определял ранние стадии формирования романного жанра и легко объединялся с другими разновидностями жанра, например с романом плутовским.

Но в «Бурсаке» есть и новое: романист не только ведет своего героя через различные сферы жизни, но и конкретизирует этот путь с помощью некоторых исторических ориентиров. «В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое решение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому». Так намечается исторический ключ романа, объединяющий вымышленные частные события и вымышленного частного героя с событиями реальными и историческими – в данном случае воссоединением Украины с Россией.

На таком объединении строилась архитектоника романов Вальтера Скотта; однако несмотря на то, что имя основателя исторического романа к этому времени уже было известно в России и появились переводы нескольких его романов, произведение Нарежного еще нельзя отнести к собственно исторической романистике. Слишком условна, неисторична фигура гетмана Никодима, в котором лишь при большом усилии можно увидеть Богдана Хмельницкого (как это сделала Н. Белозерская); слишком условен, неподлинен ход описываемых событий, да и сама связь вымышленного персонажа с исторической основой – эта квинтэссенция вальтер-скоттовского романа – слишком искусственна и непрочна. При всем том в романе Нарежного неоспоримо достоинство ряда исторических описаний и сцен, например, торжества в Батурине по случаю дня рождения гетмана, обеда в гетманских покоях и особенно описания Запорожской Сечи, «сей чудовищной столицы» «свободы, равенства и бесчиния всякого рода». Если прибавить к этому еще детали из «Двух Иванов», характеризующие атмосферу Запорожской Сечи, а также сцену встречи атамана Авенира в повести «Запорожец», то убеждаешься в правильности высказанной еще в дореволюционном литературоведении мысли, что и историческим колоритом своих произведений Нарежный подготовил появление Гоголя, и что картины жизни старой Украины в «Бурсаке» или «Запорожце» проложили дорогу «Тарасу Бульбе».

Что же касается действия «Бурсака», то по мере его развития оно все более и более приобретало авантюрный оборот, как это обычно бывало в русских романах XVIII века.

Включаются такие испытанные романные приемы, как тайна происхождения героя (Неон оказывается внуком самого гетмана Никодима), похищения и тайного бегства в нескольких вариантах (дочь Никодима тайно обвенчалась с Леонидом, а их сын Неон тайно обвенчался с дочерью Истукария Неониллою); затем еще следует таинственное покровительство со стороны других персонажей (казака Короля или шута Куфия), как потом выясняется, проистекающее из соображений родства или старинной дружеской приязни. И цельность характера главного персонажа постепенно размывается, ибо такой характер должен стать пригодным для нанизывания неограниченного количества авантюрных происшествий, для избыточности и известной самодостаточности действия. Как и в других романах Нарежного, в «Бурсаке» довольно заметен шов между ситуациями и сценами реального быта и традиционными беллетристическими схемами.

В другом произведении из украинской жизни – «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» – бытовая и реальная специфика проявилась еще более неожиданно, дерзко. Уже одно то, что Нарежный сумел оценить романические возможности такого явления, как сутяжничество, свидетельствует о его замечательной художественной проницательности. Исследователь Нарежного, говоря о «Двух Иванах», заметил: «Эта страсть к тяжбам и одновременно к самоуправству была, при условиях тогдашней дворянской жизни, некультурным проявлением самостоятельности в поступках и мнениях, проявлением энергии, уродливо развитой царящим

вокруг произволом».[32] Вывод неожиданный, но верный, а применительно к роману верный вдвойне! Ведь «страсть к тяжбам» создавала то необходимое, пусть уродливое, проявление личного почина, личного начала, которые должны были питать романное действо. Эта страсть была достаточно своекорыстна и прагматична, чтобы считаться с обстоятельствами; была не столь могущественна, чтобы избежать влияния других сил, прежде всего встречной страсти к сутяжничеству со стороны противника; словом, она поневоле проявлялась «в малой дозе», наталкивалась на всевозможные препятствия и осложнения, столь необходимые для полного раскрытия романной специфики.

Но обратим внимание – романные мотивы подвергаются травестированию, причем двойному. Одна из глав романа (ч. II, гл. 1) носит название «Дон Кишот в своем роде». Подразумевается пан Харитон, обуреваемый жаждой отомстить своим противникам, двум Иванам, выезжающий из родного села Горбыли в Полтаву верхом на лошади, подобно Рыцарю Печального Образа. В следующей главе пан Харитон нападает на ветряные мельницы, поджигает их, однако вовсе не потому, что принимает их за великанов, а потому что хочет нанести ущерб собственности своих врагов. Роман Сервантеса снижал мотивы рыцарского эпоса; произведение Нарежного снижало уже «сниженные» мотивы «Дон-Кихота»… Современный Дон-Кихот отправляется в путь не для того, чтобы «сражаться», а для того, чтобы судиться («позываться») и чинить пакости.

Из произведений Нарежного «Два Ивана» в наибольшей мере воплощают принципы комического романа нового времени. Его основной материал – повседневные заботы, ссоры, дрязги, проявления недоброжелательства, зависти, словом, мелочи жизни. Между тем эти мелочи не только наполняют все бытие человека, но подчас приводят к последствиям весьма печальным, рождают, как говорил Гоголь в «Старосветских помещиках», «великие события». Возникает иронический контраст существующего и должного, который обычно передается авторским повествованием («Два Ивана» – второй роман, после «Аристиона», рассказанный в перспективе автора), – например, подчеркнуто серьезным, деловым описанием поступков, заведомо ничтожных или низких. Таково упоминавшееся уже описание поджога паном Харитоном мельницы, которое «по общему тону напоминает уничтожение гусиного хлева в повести Гоголя о ссоре Перерепенко с Довгочхуном».[33] Широко использованы Нарежным и комические возможности канцелярских хитросплетений, невозмутимая казуистика жалобы, позыва, переданная как в авторском изложении, косвенно (начало 7-й главы 1-й части), так и прямым образом, судебным «документом» (определение сотенной канцелярии в следующей главе). Все это также предвосхищает Гоголя – вспомним прошения Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича в миргородский суд.

Между тем комическая фабула соединена в романе с серьезной – отчасти чувствительной, отчасти тоже комической, но комической в ином роде. Рядом с историей сутяжничества и каверзничества развивается история любви, призванной навести мосты над пропастью неразумия и ненависти; ведь любящие, как Ромео и Джульетта, принадлежат к враждующим домам. Романист щедро использует возможности, вытекающие из контраста положений. Ведь в то время как «новобрачные считали себя преблагополучными людьми… отцы их, позываясь между собою беспрестанно и делая друг другу возможные пакости, едва ли не были самые несчастные из всего села Горбылей».

В одном лишь произведение Нарежного отступает от требований романа: в нем сравнительно узка арена действия; нет открытой панорамности прежних его романов, смены сфер и материала. Однако Вяземский причислял «Двух Иванов» именно к романам, – надо думать, не только по соображениям объема, детализированности описаний (в произведении три части),

[32] Н. Котляревский. Николай Васильевич Гоголь, 1829–1842, четвертое, исправленное издание. Пг., 1915, с. 61.

[33] Н. А. Энгельгардт. Гоголь и романы двадцатых годов. – «Исторический вестник», 1902, № 2, с. 573.

что само по себе, конечно, важно. В романе все же есть и панорамность – только неявная; «Два Ивана» – тоже роман дороги, но дороги петляющей, возвращающейся назад, вспять. Беспрестанно отправляются персонажи романа из родных Горбылей то в Миргород, то, как пан Харитон, в Полтаву и даже Батурин, резиденцию украинских гетманов, – их влекут туда обстоятельства тяжбы, позыванья. Намечено в «Двух Иванах» и путешествие в Запорожскую Сечь, причем мистифицированное, поскольку запорожцы Дубонос и Нечоса оказались переодетыми сыновьями двух Иванов. Образ дороги словно сворачивается, что соответствует тому движению по кругу, суетливому мельтешению, которые создает запутанность мелких страстей и стычек.

Но, будучи верен себе, Нарежный не поставил на этом точку и привел намеченные противоречия и конфликты к благополучному разрешению. Сделано это опять-таки искусственно – и благородный пан Артамон, устраивающий судьбу молодых, содействующий примирению враждующих и даже поправляющий их разоренное тяжбой хозяйство, сродни пану Горгонию из «Аристиона». Персонажи такого рода – не только дань романным схемам, но и выражение просветительской веры в разрешимость конфликтов или, по крайней мере, напоминание о необходимости их разрешения, что было свойственно русскому Просвещению, рационалистическим традициям XVIII века.

Последний, оставшийся не законченным роман Нарежного принадлежит к так называемым разбойничьим романам, испытавшим сильное влияние шиллеровских «Разбойников». Нарежный, мы говорили, знал эту пьесу; воздействие ее сказалось и в его ранней трагедии «Димитрий Самозванец», и в «Российском Жилблазе», где в качестве эпизодической фигуры появлялся разбойник Гаркуша, который «особенно свирепствовал… противу дворянства». Теперь это лицо превратилось в главного героя романа.

Разбойник Гаркуша, или, вернее, Горкуша, – фигура историческая;[34] однако историческая правда мало интересовала Нарежного, решавшего общую психологическую задачу. Она поставлена зачином романа: «Повествователи необыкновенных происшествий! Всегда ли и все ли вы старались вникнуть в первоначальную причину оных?» Роман и пытается разъяснить «причины» гибели «сочеловека», то есть превращения Гаркуши в отщепенца и разбойника.

Вначале это молодой, бедный пастух, набожный и честный. Но ко дню рождения Гаркуши, к двадцать пятому году жизни (вспомним и роковой, тоже двадцать пятый, год князя Кайтука), случилось событие, изменившее всю его судьбу. Карп, племянник старосты, а также дьяк Яков Лысый оскорбили Гаркушу, и тот решил им отомстить. Вначале он мстит в духе героев «Двух Иванов» – пускает голодных кошек в голубятню дьяка, подпиливает в его саду лучшие плодовые деревья, соблазняет невесту Карпа Марину, словом, пакостничает и каверзничает. Потом, по мере нарастания сопротивления врагов Гаркуши и получения им новых ударов, новых оскорблений, месть его становится более жестокой, подчас низкой (так, он предает огласке свою связь с Мариной, несмотря на пробудившуюся в нем искреннюю к ней привязанность), пока, наконец, обстоятельства не вовлекают его в кровавое преступление – убийство. Это проводит между ним и людьми роковую черту; отныне Гаркуша – разбойник, отщепенец.

Трактовка разбойнических деяний Гаркуши отличается откровенной двойственностью. Прежде всего он мститель, причем не только за личную обиду. Описание бесчинств помещика Кремня, его детей, а также многих других владетельных лиц выдержано в свойственной Нарежному жесткой обличительной манере. Дом пана Кремня уподобляется Содому, а поступки его дочери – «мерзостям» «самых опытных римлянок второго и третьего века». Сравнения многоговорящие, почти эсхатологические, ибо они обозначают продельную степень развращенности

[34] О нем существует специальное исследование: Н. Маркович. Горкуша украинский разбойник. – «Русское слово», 1859, сентябрь, с. 138–244.

и хаоса, ту степень, за которой уже следует гибель – гибель ли Содома и Гоморры или Римской империи.

В этих условиях Гаркуша – мститель, но не разбойник: «кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пан, который за принесенное в счет оброка крестьянкою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержать на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит изобличенному в бездельстве компанейщику: «Что даешь, чтобы я оправдал тебя?» Не тот ли священник, который, сказав в церкви: «Не взирайте на лица сильных», в угодность помещику погребает тихонько забитых батогами или уморенных голодом в хлебных ямах»? О беззаконники! Вы забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя? Так! Я мститель и не признаю себе другого имени!» Даже на фоне пронизанных революционным духом обличений Радищева эти слова звучат дерзко и смело.

От русского Просвещения Нарежный перенял не только грозный пафос обличения порока, крепостнического произвола прежде всего, но и мысль о естественном, природном равенстве всех людей. Эту мысль развивает Гаркуша перед своими товарищами – разбойниками, вчерашними крепостными: «Все мы считаем себя рабами панов своих: но умно ли делаем? Кто сделал их нашими повелителями? Если господь бог, то он мог бы дать им тела огромнее, нежели наши, руки крепче, ноги быстрее, глаза дальновиднее. Но мы видим противное».

Все это заставляет видеть в лице главного героя черты благородного разбойника, даже благородного разбойника-идеолога, подводящего под свои действия базу передовых идей. Но в то же время Гаркуша допускает жестокость, мучительства; в шайку его вливается всевозможный темный люд – «лишенные за распутную жизнь звания своего церковники, здоровые нищие, лишившиеся всего имущества своего от лени, пьянства и забиячества», и т. п. Создается та двойственность моральной оценки (выраженная с помощью суждений автора: роман рассказан от его лица), двойственность освещения, которая будет отличать трактовку разбойничьей темы и – шире – процесса отчуждения, отпадения главного героя от общества – в русском романтизме. Нарежный отчасти совпал с романтическим движением, отозвался на его нарастающее влияние; вспомним, что в 1822 году уже появился пушкинский «Кавказский пленник».

В то же время Нарежный не оставил и привычных схем романной поэтики, начиная от типажа главного персонажа до способа развития действия. При всей колоритности Гаркуши, особенно вначале, когда он предстает в довольно тесной слиянности с украинским бытом, в нем есть и обычная для нарежнинских главных персонажей нецельность, расплывчатость. Впрочем, это оборачивается своим достоинством: от человека все можно ожидать. Кто мог ожидать от Гаркуши, скромного и набожного пастуха, такого разгула жестокости, такого проявления силы, такой мощи характера, что повествователь даже говорит о нем как о несостоявшемся великом деятеле рода человеческого: дескать, природа, «поставив его в лучшем кругу общественности – подарила бы отечеству, а может быть и всему свету, благотворителя смертных, вместо того, что он выходит ужасный бич их…». А ведь Гаркуша– еще благородный разбойник, идеолог, а вместе с тем еще богатырь почти сказочный.

Сказочный, лубочный уклон довольно ощутим с развитием действия, и это вполне отвечает приверженности Нарежного к несбыточному, чрезвычайному, авантюрному. Такой уклон усиливается с выходом на сцену некой разбойницы Олимпии. Хотя и судьба Олимпии несет в себе немало живых примет тогдашнего быта, в том числе и примет крепостного произвола, но с ее появлением, как соперницы и возлюбленной Гаркуши, резко возрастает лубочно-авантюрное начало.

Оба атамана, как выясняется, решают пожениться, объединив свои шайки для успеха общего дела. «Подошед к своей воинственной нимфе, Гаркуша произнес:

– Я считаю себя весьма счастливым, что вижу в сей прелестной области мужественного атамана – прекрасную Олимпию!..

– Я и сама не менее рада, – отвечала Олимпия, устремив на него пламенные глаза, – что имею случай видеть близ себя человека» которому во всей округе нет подобного в храбрости и замыслах».

Вслушиваясь в этот галантный обмен любезностями, думаешь, что перед тобой не свирепые разбойники, а чувствительные любовники Никандр и Елизавета из «Российского Жилблаза» или, скажем, философы-семинаристы и их подруги из «Двух Иванов». Элемент чувствительности (о своих «страстных чувствованиях» к Олимпии, упоминает и Гаркуша), пусть даже растворенной сказочной шутливостью и забавностью, Нарежный считал необходимой приправой романного действа.

Итог творческой деятельности Нарежного подвел спустя почти полвека после его смерти И. А. Гончаров. В письме к М. И. Семевскому от 11 декабря 1874 года он писал, возвращая ему «три томика «Российского Жилблаза»: «Нельзя не отдать полной справедливости и уму и необыкновенному по тогдашнему времени уменью Нарежного отделываться от старого и создавать новое. Белинский глубоко прав, отличив его талант и оценив его как первого русского по времени романиста. Он школы Фонвизина, его последователь и предтеча Гоголя… Вы увидите в нем намеки, конечно, слабые, туманные, часто в изуродованной форме, на типы характерные, созданные в таком совершенстве Гоголем… Натурально у него не могли идеи выработаться в характеры по отсутствию явившихся у нас впоследствии новых форм и приемов искусства; но эти идеи носятся в туманных образах– и скупого, и старых помещиков, и всего того быта, который потом ожил так реально у наших художников, – но он всецело принадлежит к реальной школе, начатой Фонвизиным и возведенной на высшую ступень Гоголем… В современной литературе это была бы сильная фигура».[35]

Заслуги писателя определены здесь кратно и точно. Выдвинуто вперед самое ценное в Нарежном – его романное творчество, сделавшее его ключевой фигурой в истории русского романа. Определено место Нарежного в пределах эволюционного ряда, указана его принадлежность к «реальной школе».

Очень важна и фраза Гончарова: Нарежный – «предтеча Гоголя». По дарованию они, конечно, несопоставимы. Это, как выразился более поздний литературовед, «смертный и божество»; «но сколько сторон роднит их друг с другом!»[36] Некоторых «сторон» мы уже касались выше; здесь же следует подчеркнуть, что сходство не ограничивается отдельными тематическими и сюжетными перекличками, но простирается на поэтические системы обоих авторов. Помимо интереса к прозе и мелочам жизни, к бытовому колориту (в том числе и к украинскому), помимо «вкуса к юмористическому представлению обыденней действительности», есть нечто общее и в самом складе юмора, типе комизма.

Для Гоголя в высшей степени характерно то, что можно назвать непроизвольностью и наивностью комизма, избегающего педалирования и аффектации (которые нередко сопутствовали комизму в догоголевской, дидактической литературе). Персонажи «не знают» о своих смешных сторонах, не собираются выставлять их на публичное обозрение – они лишь непроизвольно проявляют себя. Да и жизнь в целом «не знает» о заключенном в ней комизме – она лишь естественно функционирует по своим собственным законам. Смешное выказывается, как говорил Гоголь, «само собою». У Гоголя этот тип комизма выступает в сложившемся, совершенном виде. Но и у Нарежного заметны его начало, его наметки. Отсюда и переклички, подчас поразительно неожиданные.

---

[35] И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1955, с. 474–475.

[36] В. Данилов. Земляк и предтеча Гоголя. Отдельный оттиск из журнала «Киевская старина», Киев, 1906, с. 14.

Чтобы не быть голословным, приведу хотя бы один пример. Вот Парамон из «Аристиона», кутила и игрок, мучается от невозможности сказать что-то необходимое и нужное. «Казалось, он искал в голове своей приличного ответа на сделанную ему задачу, но в ней было так пусто, как в карманах стихотворца…» Затруднение разрешилось репликой: «В голове у меня много, много, да вот нейдет…» Это даже и текстуально предвещает знаменитую реплику Бобчинского о Хлестакове: «…и здесь (вертит рукою около лба) много, много всего». В обоих случаях перед нами комизм бессмыслия, беспомощного, немотствующего языка.

Возвращаясь к отзыву Гончарова, нужно сказать еще о том, что он оценил усилия Нарежного в области стиля, языка. Современная ему критика не раз упрекала романиста в языковых погрешностях, нарушении меры и т. д. Гончаров также отмечает, что язык Нарежного нередко выглядит «тяжелым, шероховатым, смешением шишковского с карамзинским». Но писатель видит и то, что ускользнуло от внимания современников романиста. «…Очень часто он успевает, как будто из чащи леса, выходить на дорогу и тогда говорит Легко, свободно».

Наконец, важно и то, что итоговое суждение о Нарежном высказано великим писателем, одним из крупнейших представителей русского реализма XIX века. Многое в Нарежном было обращено к последующим литературным временам – к Гоголю, к «натуральной школе», к развившимся из нее тенденциям. Еще Н. А. Добролюбов отмечал, что Нарежный «предупредил Гоголя со всею новейшею натуральною школою».[37] И вот теперь новейшее литературное движение устами одного из своих самых видных представителей воздавало Нарежному должное, видя в нем не только своего предшественника по школе – «реальной школе» – но и фигуру, способную действовать в рамках этого движения. Причем – потенциально яркого деятеля, «сильную фигуру».

Ю. Манн

[37] Н. А. Добролюбов. Литературная критика, т. I, 1934, с. 533.

Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы СимоновичаЧистякова

Homo sum, humani nil a me alienum puto.[38]
Terent

Предисловие

Превосходное творение Лесажа,[39] известное под названием «Похождения Жилблаза де-Сантиланы», принесло и продолжает приносить сколько удовольствия и пользы читающим, столько нести и удивления дарованиям издателя.

Франция и Немеция имеют также своих героев,[40] коих похождения известны под названиями: «Французский Жилблаз», «Немецкий Жилблаз». А потому-то решился и я, следуя примеру, сие новое произведение мое выдать под столько известным именем и тем облегчить труд тех, нон стали бы изыскивать, с кем сравнивать меня в сем сочинении.

Правила, которые сохранить предназначил я, суть вероятность, приличие, сходство описаний с природою, изображение нравов в различных состояниях и отношениях; цель всего точно та же, какую предначертал себе и Лесаж: соединить с приятным полезное.

Но как сии два слова «приятность, польза» почти каждым понимаемы по-своему, и мы беспрестанно видим, – если только подлинно смотрим, а не спим с открытыми глазами, – что одну и ту же вещь, одно и то же чувствование, движение, желание, отвращение один называет полезными, другой – гибельными, один – приятными, другой – отвратительными, то, не стараясь избегать общей участи всего подлинного, я спокойно предаю себя свободному суждению каждого, не заботясь много, то ли точно почтет он приятным и полезным, что мне таковым казалось; да и заботиться о том по всем отношениям было бы и не полезно и неприятно.

Да не прогневаются на меня исступленные любители метафизики, славенского языка и всего, что есть немецкого, что я не всегда с должною почтительностию об них отзывался. Это отнюдь не значит, чтобы считал я Метафизику наукою вздорною, славенский язык – варварским и все то, что выдумано немецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани от того, боже! Но мне всегда казалось, что перейти должные пределы, в чем бы то ни было, есть крайнее неразумие. Метафизика, без сомнения, есть наука высокая и утончает разум человека, однако ж не до такой степени, чтобы мог он определить, чем занималось высочайшее существо до создания мира и чем заниматься будет по разрушении оного. А есть такие храбрые ученые, которые на то пускались. Славенский язык бесспорно высок, точен, обилен; однако ж тот из нас, который, стоя пред красавицею, будет нежить слух ее названиями: лепообразная дево! голубице, краснейшая рая, – едва ли не должен быть почтен за сумасброда; а такие витязи и до сих пор у нас находятся, и не без последователей! Что касается до немчизны, под которым названием,

---

[38] *Homo sum, humani nil a alienum puto* (Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо-лат.) – крылатое выражение из комедии римского драматурга Теренция (ок.195–159 гг. до н. э.) «Самоистязатель». (Комментарий Ю. Манна).

[39] *Превосходное творение Лесажа…* – Роман А.Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» издан в 1715–1735 гг. (I, II т. в 1715,III т. – в 1724-м и IV т.– в 1735-м). Первый русский перевод: «Похождения Жилблаза из Сантилланы, описанный г. Ле Сажем, а переведенный Академии наук переводчиком Васильем Тепловым», т. 1–4, 1754–1755. (Комментарий Ю. Манна).

[40] *Франция и Немеция имеют также своих героев…* – Подразумеваются французские и немецкие переделки романа Лесажа, переведенные на русский язык: «Новой Жилблаз, или Приключения Генриха Лансона, сочиненный г. Мером в Нанси». Перевел с французского Ф. Печорин, ч. 1–4. М., 1794; и [Адольф Франц Фридрих Людвиг фон Книгге] «Немецкой Жилблаз, или Приключения Петра Клаудия». Перевел с французского Николай Ильин, ч. 1–3. М., 1795–1797. (Комментарий Ю. Манна).

следуя выражению наших прадедов, разумею я всякую чужеземщину, то весьма недовольным почту себя, если кто-нибудь назовет меня порицателем всего того, что не наше. Это была бы излишняя благосклонность ко всему своему, что также никуда не годится. Всякое пристрастие ведет к заблуждению, а я не знаю, что было бы хуже, следовательно, вреднее заблуждения, подкрепленного упрямством.

Описывая жизнь человека в многоразличных отношениях, не мог я не показать и таких картин, которые заставят пожилых богомолов и богомолок хотя притворно застыдиться. Может быть, то же действие будет и над молодыми; но пусть молодые, почувствовав низость порока чужого, краснеют, не быв еще подвержены оному сами, нежели краснеть в летах по сделании и когда уже будет мало случаев и сил ему противиться.

Я вывел на показ русским людям русского же человека, считая, что гораздо сходнее принимать участие в делах земляка, нежели иноземца. – Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается.[41] За несколько десятков лет в у нас нельзя бы отважиться описывать беспристрастно наши нравы. Сколько достало во мне дарования и опытности, употребил все, чтобы угодить некоторым из читателей, именно тем, кои прямо разумеют отличить настоящее приятное и полезное от общих им сословий[42] и, следовательно, стоят того, чтобы для их удовольствия трудились люди.

[41] *Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается.* – В «Истории Жиль Блаза…» события происходят в Испании – традиционном месте действия плутовского романа, хотя за испанским колоритом угадываются реальные нравы и обычаи тогдашней Франции. (Комментарий Ю. Манна).

[42] Synonima. (Прим. В. Т. Нарежного).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I
Вечер в деревне

В небольшой деревне, стоящей близ рубежа между Орловскою и Курскою губерниями, жил в господском доме своем с семейством помещик Иван Ефремович Простаков. В молодые лета служил он в полках, был в походах и даже сражениях. Хотя, правда, он и молчал о сем, но зато весьма часто повествовала жена его, показывая в удостоверение прореху в мундире. Была ли сделана она пулею, или штыком неприятельским, или продрана на гвоздь, – того не могла сказать наверное, потому что верного не было и признака; а муж, с своей стороны, за давностию времени не мог припомнить, лгать же отнюдь не любил. Будучи отставлен капитаном, жил спокойно в деревне доходами с имения, слишком достаточного по образу простой его жизни. Он был тих, кроток и чувствителен ко всему хорошему, занимался домашним хозяйством, а на досуге любил читать книги и курить табак. Достойная супруга его Маремьяна Харитоновна была довольно дородна, отлично горда и чресчур тщеславна. Она никогда не могла забыть, что блаженной памяти родитель ее был богатый дворянин в полуденном крае России, имел в доме своем балы, феатры и маскерады; «и даже маскерады, – повторяла она нередко, разговаривая со своими соседками. – Жаль только, – продолжала она, – что батюшка, не выдав меня замуж, лишился балов и маскерадов; а не то, не за капитаном быть бы мне!». Тут оглядывалась она кругом; смотрела пасмурными глазами и подходила к зеркалу, но и оно не могло ее утешить. Она была уже мать троих возрастных детей. К чести ее или и мужа можно отнести, что и до сих пор она была совершенно ему послушна и не реже бывала в кухне, как и рассуждала о феатрах и маскерадах покойного батюшки. Дети Простаковых были две дочери и один сын. Как последний воспитывался еще в кадетском корпусе, то об нем в сей повести ни слова и не скажем, кроме разве, что его звали также Иваном. Это одно покудова он заслуживает.

Дочери были Елизавета и Катерина. Меньшая была настоящий список с портрета матери ее во днях молодости, хотя она и не презирала капитана, отца своего, потому что он был богаче всех ближних соседей, следовательно, и она была наряднее деревенских подруг своих; однако ж всегда охотно рассказывала им о почтенном дедушке, у которого бывали балы, феатры и даже маскерады. Гостьи пожимали плечами, а Катерина вздыхала.

Елизавета, сестра ее, была во всем противных мыслей, чувств и поступков. В пасмурных взорах ее плавала кроткая чувствительность, нежность обнаруживалась в каждом ее движении, невинная простота души казалась иногда даже застенчивостию. Когда сестра ее рассказывала о феатре дедушки, о его пиршествах и вздыхала, Елизавета уходила в сад, опиралась о вишневое дерево, смотрела на безоблачное небо, на игривые звезды и также вздыхала.

Отчего ж тужить невинному сердцу ее?

Три года назад были две сестры воспитываемы в городском пансионе. Хотя отцу и крайне того не хотелось, но жена перемогла.

– Что из того выйдет, – кричала Маремьяна Харитоновна, – когда дочери мои не будут выучены ни играть, ни танцевать, ни говорить языком французским?

– Сестры мои ничего того не знали и не знают, точно как и я, – отвечал муж, – а не меньше того счастливы. Они были хорошие дочери, хорошие жены, хорошие матери и даже счастливые своими детьми, хотя не посылали их и в уездный пансион.

Он, кажется, рассуждал не худо, но дочери были посланы, воспитывались пять лет и мгновенно отозваны в деревню. А причина?

В том же пансионе находился, между прочим, один молодой человек, сын, как догадывались, беднейшего дворянина. Принят был туда потому, что за него платил хорошие деньги неизвестный человек. Итак, он сему незнакомому благодетелю какой-нибудь родственник, или, может быть, не побочный ли сын от дочери или сына, или его самого? Все статься может, но я покудова ничего не знаю, так, как и сам молодой человек тот в тогдашнее время, кроме, что звали его Никандром. Этот затейливый молодец возвел на Елизавету взоры, прежде любопытные, потом внимательные, а вскоре страстные. Елизавета отвечала точно тем же порядком. Дружба их возрастала ежедневно и, наконец, дошла до того, что однажды в часы отдыха, гуляя в пансионском саду, как-то очутился он наедине с Елизаветою. Он на нее взглянул, она на него; он взял ее руку и пожал; она – его; наконец, он осмелился прижать ее самою к своему сердцу и запечатлеть страстный поцелуй на пламенеющих устах юной красавицы. – Ах! как счастливы были они тогда: но увы! какое последствие!

– Grand dieu![43] – раздался сзади дребезжащий голос. Они оглянулись, и кто изобразит их ужас? Разинув рот и выпуча глаза, бежала, сколько могла, старая мадам Ульрика.

С трепетом молодые любовники бросились в разные стороны, но это не помогло. Воспитанника выгнали вон, ибо не знали, куда отослать его, а из снисхождения к богатой фамилии Простаковых отписано было к отцу, чтобы изволил прислать карету за девицами, дочерьми своими.

Конечно, Ульрика была одна из лучших содержательниц пансионов, что не обратила во зло нежности молодой питомицы; но правда и то, что любовник был сам по себе великий бедняк, а потому не стоил никакого внимания в сем случае. Если же бы случилось какому-нибудь богатому князьку влюбиться в бедную питомку, то можно думать, что и наша мадам не заставила бы смеяться над собою прочих отважных наставниц.

Протекли три года после сего происшествия, как целое семейство в один осенний дождливый вечер собралось в гостиную, чтобы, зевая, смотреть на табашный дым, из трубки г-на Простакова курящийся, и после слушать похождения Жилблазовы, кои читал он вслух, прилегши на софе.

Маремьяна. Что ты ни говори, а спектакли покойного моего батюшки были привлекательнее, чем мадритские!

Простаков. Оттого-то, быть может, он и покойник!

Все замолчали. – После некоторого промежутка началось опять.

Маремьяна. Боже мой! как прелестно было то равенство, какое царствовало в маскерадах! ходи, сиди, пляши – никто тебя не знает.

Простаков. Оттого-то часто ничего не стоящий подлец, – не стоящий и того, чтобы путный человек на него плюнул, – ходил, сидел, плясал с вами. А последствия?

Маремьяна опять замолчала и пошла в столовую собирать к ужину; Катерина тихонько вальсировала перед зеркалом, а Елизавета сидела у изголовья софы, склоня печально на руку свою голову.

– Что ты делаешь, Катерина? – спросил отец, поднявшись сердито.

– Вальсирую, батюшка.

– Кто велит тебе вальсировать, когда я читаю книгу, и притом хорошую? Дело бы другое, если б какую-нибудь комедийку или пустенький романец, как, например: «Модная лавка», «Новый Стерн»[44] и тому подобные мелочи; или еще и большие, переведенные с французского языка, коими наполнены книжные лавки.

– Матушка говорит, что никому нельзя понравиться, сидя за книгами или за пяльцами.

---

[43] Великий боже (фр. – Ред.).

[44] *«Модная лавка»* – комедия И. А. Крылова (опубл. в 1807 г.) и *«Новый Стерн»* – комедия А. А. Шаховского (пост. в 1805 г., опубл. в 1807 г.) – вопреки утверждению Простакова глубоко содержательные произведения с явно обличительной тенденцией. (Комментарий Ю. Манна).

– Понравиться? – сказал отец еще сердитее и поднявшись больше. – Тебе рано о том стараться. Довольно для тебя нравиться отцу и матери.

Катерина вышла в столовую, однако легонько попрыгивая. Отец, вздохнув, принялся за книгу. Елизавета вздохнула, спустя еще ниже голову; но причины вздохов сих выходили совсем из разных источников.

Пробило в зале восемь часов, и Катерина вошла.

– Батюшка! Стол готов, и матушка уже села. – Она ушла.

Едва Простаков скинул свой колпак и поднял с софы ногу, как вдруг из других дверей опрометью вбегает слуга и, запыхаясь, говорит:

– Барин! Какой-то князь стоит в передней и просит позволения войти. Имени его не мог упомнить, – такое мудреное!

– Князь? – вскричал Простаков, оправляя халат.

– Князь! – возвысились два голоса, и мать с дочкою выбежали. «Князь!» – раздалось в людской, девичьей, кухне; словом, во всем доме не слышно было ничего, кроме громогласного: «Князь! князь!»

– Что это значит? Что за крик и шум? Как будто князь какое-нибудь чудовище или херувим, – сказал с досадою Простаков, ощипываясь кругом. – Проси войти!

Слуга вышел. Всех любопытные взоры обращены были на дверь, всех рты открыты, дыхание остановилось; по одним колебаниям грудей можно было видеть, что они не статуи. Надобно сказать правду, кроме г-на и г-жи Простаковых, которые видали князей лет за двадцать, никто в доме не имел и понятия, каков должен быть князь? Большею частию думали, что он великан, весь в золоте, в дорогих каменьях, и, словом: существо, совсем не похожее на обыкновенного человека.

Глава II
Князь

Наконец минута развязки настала. Дверь отворяется и – о боже! какое явление!

«Ах! – вскрикнула Маремьяна и ее дочери, – ах господи!» Они бросились вон. Простаков сам отступил назад, побледнел и перекрестился. «Это чудовище», – сказал он про себя и еще на шаг отступил.

Чего же так сильно испугались они? Ну, пусть женщинам простительно; они не бывали на сражениях, а если и бывали, так разве только с горничными девками и дворовыми босыми мальчиками, ибо власть управляться с лакеями, кучерами, поварами и вообще возрастными мужчины предоставили себе; но и Простаков – о диво! Простаков, который бывал на сражениях, получил рану, что видно было из дыры на мундире, – и Простаков ужаснулся. Волосы его поднялись дыбом, и если б он не поддержал колпака рукою, хотя и трепещущею, то верно бы он слетел к ногам вошедшего привидения или по крайней мере – оборотня.

Долго они стояли в молчании. Самое привидение, видя продолжительный ужас хозяина с семейством, сильно наморщилось. Простаков, заметя то, закусил губы, ибо, казалось, он, наконец, хотел что-то сказать.

Пора мне открыть причину всеобщего ужаса.

Привидение сие имело с виду подобие мужчины под пятьдесят лет. Волосы его всклокочены и наполнены грязью, которая также залепляла лицо и руки, оцарапанные до крови; платье все в лохмотьях; одна нога босая, другая в лапте; оно дрожало от холоду; глаза были томны и унылы.

– Милостивый государь, – сказал он (мы говорим уже «он», а не «оно», то есть привидение, ибо все приметили в нем некоторые признаки мужеского пола), – милостивый государь! чистосердечно прошу прощения, что я перепугал вас и почтенное семейство. Несчастие постигло меня. Я страдаю голодом и жаждою; целые сутки ни одна кроха не бывала во рту моем; я дерзнул искать у вас милосердия и убежища на эту ночь.

Он сказал и грязною рукою утер глаза, из коих выкатились слезы.

– Вы несчастны? – сказал быстро Простаков, подскочив к нему на три шага, и вид его прояснился.

– Довольно несчастлив, по крайней мере на некоторое время.

– Малый! – вскричал Простаков к слуге, – отведи сего господина на кухню и вели вымыть; меж тем, Маремьяна, приготовь чистое белье, сапоги, сертук и прочее, что нужно. Государь мой! – продолжал он, обратись к незнакомцу, – как скоро вы пооправитесь, прошу сюда; мы будем ждать вас вместе отужинать.

Незнакомец вышел, поклонясь низко.

– Боже мой! – сказали, вошед вдруг, жена и дочери.

Жена. Что ты все делаешь не подумавши?

Муж. Я хочу делать почувствовавши.

Жена. Ты чувствуешь вздор.

Муж. Легко статься может, однако ж ты поди и приготовь белье.

Жена. Может быть, он какой преступник?

Муж. И величайший преступник имеет право на сожаление.

Жена. А если он разбойник!

Муж. Я накормлю голодного разбойника и после отдам в руки правосудия.

Жена. Да! как уж успеет ночью удушить тебя.

Муж. Ты все вздор мелешь. Он безоружен и едва от изнеможения стоит на ногах.

Жена. Притворство, личина!..

Муж. Поди и приготовь белье. Разве ты не хочешь ужинать, ибо я и все не сядем за стол, пока он не придет.

– Боже мой! как ты упрям, – говорила она, уходя и побрякивая ключами.

– Батюшка, – сказала Катерина, – мне кажется, матушка несколько права. Вить неприлично принимать в дом дурного человека.

– Так, дочь моя, – отвечал старик, – но надобно прежде точно удостовериться, что он дурен; а почитать его таким по его загрязненному лицу, по нищенскому платью, по робкому виду и отказать в куске хлеба и в угле дома для проведения ночи в дождливую осень, – да сохранит вас бог, дети мои, от такой разборчивости! Сто раз покойнее буду смотреть на вас во гробе, нежели с этими румяными щеками, блестящими от довольства и спокойствия глазами и сердцами каменными. Чувствительность есть истинное благородство человека. Она ставит его на высокую степень творения. Волк и медведь имеют столько ума, чтоб отличить тигра от робкой овцы и, от одного убегая, гнаться за другою. Чувствительный, хотя и несчастный человек, если не сегодня, то завтра, то когда-нибудь найдет сердца, которые поймут его, сблизятся с ним, и он будет счастлив в рубище. Но жестокосердый – он вечно несчастлив: среди богатств, славы, величия, в венце и багрянице.

Старик умолк, но взоры его сияли удовольствием. Он взглянул на дочерей: Катерина отворотилась, поправляя серьгу; Елизавета стояла, устремив вниз глаза свои, с навернувшимися слезами и сложа руки накрест у груди. Старик вздохнул, Елизавета вздохнула; он взглянул на нее, понял биение сердца ее и молча пошел к софе.

По прошествии получаса явился незнакомец хотя в ветхом, но довольно чистом платье своего хозяина. Не с удовольствием заметил Простаков таковую бережливость жены своей, но на сей раз замолчал.

Незнакомец, робко подошед к нему, преклонил низко голову и сквозь зубы пробормотал что-то о благодарности.

– Об этом поговорим после, – сказал Простаков, – а теперь всего лучше пойдем к столу, я думаю, он теперь всего необходимее.

Как скоро Простаков увидел, что гость его понасытился и довольно весел от нескольких рюмок вина, к чему принудил его хозяин, желая поправить истощенные силы его, то сей последний сказал:

– Я почитаю вас честным человеком, и дай бог, чтобы не обманулся. Но скажите мне, пожалуйте, для чего вздумалось вам, при такой наружности, которая вдруг вам изменила, сказаться слуге именем князя? Разве несчастному

именно нужно быть князем, чтоб возбудить сострадание? Вам, видно, худо обо мне сказали.

Все обратили испытующие взоры на незнакомца, ожидая ответа. Госпожа дому удержала ложку, которую только что хотела поднести ко рту, и кидала лукавые взгляды на своего мужа.

– Что я князь природный – это такая истина, как-то, что теперь существую. Я называюсь князь Гаврило Симонович княж Чистяков, – сказал он, взглянув весело на все собрание.

Все поражены были как громом. Маремьяна, ахнув громко, уронила ложку и облилась соусом.

– Ах, боже мой! – твердила она несколько раз сряду, обтираясь салфеткою и глядя пристально на князя Гаврилу Симоновича княж Чистякова.

Наконец, после нескольких мгновенных вопросов и ответов все успокоились, только г-жа Простакова многократо извинялась, что с первого взгляда не могла узнать в нем князя, хотя наружность его довольно то доказывала.

– Полно пустое врать, – сказал муж, выпивая рюмку вина. – В тогдашнем положении его сиятельство больше походил на черта.

Все засмеялись, и даже сам князь Гаврило, почесывая лоб.

Хозяин продолжал:

– Жена! – теперь пора спать; отведи князю покои, что подле моего кабинета. Вели пораньше истопить баню, а чай будем пить все вместе.

Глава III
Капусту полоть

Настало утро. Оно хотя было и не самое прекрасное, но казалось таковым для хозяев и их гостя. Он чувствовал успокоение, а они тем веселились. Все вместе пили чай, проводили время до обеда, обедали и так далее. Прошел день и другой и таким образом целая неделя, – а там их и несколько. Хотя князь Гаврило и не один раз принимался раскланяться с гостеприимными хозяевами, но сии время от времени откладывали расставанье; каждый день взаимного обращения распространял взаимную доверенность: гость находил в хозяине старика доброго и умного по природе и опытности; а последний с каждым днем открывал в первом более и более искренности и прямодушия. По мере обоюдного сочувствия сердца их сблизились, и, когда прошел месяц пребывания князева в доме Простакова, казалось всем, что он взрос здесь и состарился.

В одно утро, когда морозы наступающей зимы засадили всех в теплых покоях, Простаков после завтрака завел речь мимоходом о прошедших случаях жизни своего гостя.

– Понимаю, – сказал князь, – и сейчас удовольствую ваше желание. Хотя и не раз буду краснеть, но охотно приношу сию жертву вашему дружелюбию.

Простаков дал знак дочерям, – они поднялись и хотели выйти, как князь, удержав их, сказал отцу:

– Успокойтесь, добрый человек; повесть моя детям вашим во многом будет уроком. – Таким образом все уселись, и его сиятельство начал:

– Родина моя в селе Фалалеевке, что в Курской губернии. Она славна своим хлебородней и наполняет житницы Петербурга и Москвы; но странный в нем недостаток, буде так сказать можно, есть тот, что там столько князей, сколько в Малороссии дворян, а в Шотландии – графов. Одно другого стоит.

Надобно отдать справедливость, что наши князья гораздо умнее иностранных графов. Там, как слыхал я нередко, граф-отец, вставая с войлочной постели, говорит сыну: «Что, граф, чисты ли мои сапоги?» – «Как же, ваше сиятельство, вот у меня и руки еще в ваксе».А графиня-мать, чистя на поварне кастрюлю, говорит своей дочери: «Что, графиня, доила ли ты корову?» – «Как же, ваше сиятельство, у меня еще и теперь ноги в навозе и на лбу шишка, – так проклятая лягается».

Наши русские князья сто раз умнее. Они занимаются хлебопашеством, хозяйством, пашут, жнут, продают хлеб и живут мирно и братски с крестьянами своими и чужими, и только в большие праздники, собравшись в шинки, объявляют о княжестве своем, если бы какой грубиян не устрашился нанести кому-либо удар, что не очень редко случалось.

Из таковых князей был почтенный родитель мой, князь Симон Гаврилович Чистяков. При кончине своей он сказал мне: «Оставляю тебя, любезный сын, не совсем бессчастным: у тебя довольно поля есть, небольшой сенокос, огород, садик и, сверх того, крестьяне Иван и мать его Марья. Будь трудолюбив; работай, не стыдясь пустого титула, и бог умножит твое имущество».

По кончине отца я несколько времени свято исполнял его завещания: но, конечно, демон вражды позавидовал моему спокойствию и вмешался в дела мои.

Подле моего домика жил князь Сидор Буркалов и с ним хорошенькая дочка его княжна Феклуша. Ее черные глазки, ее алые щечки, – словом, я полюбил Феклушу; но жениться на ней отнюдь не думал, ибо у князя, отца ее, только и была одна крестьянка, то есть княжна, дочь его; впрочем, ничего и никого не было, а сверх того, что и осталось после покойной жены, он по неосторожности или грустя по ней, время от времени переносил к жиду Яньке, корчмарю нашей деревни. Итак, я твердо решился не свататься за прекрасную Феклушу, однако ж любил

ее и стал невольным образом следовать за нею всюду. Она то заметила и, казалось, была не недовольна.

Однажды, встретив ее, согбенную под коромыслом, сказал я с сожалением: «Ах, княжна! тебе, конечно, тяжело?» – «Что ж делать», – отвечала она закрасневшись. Я взял ведры и донес до дому. «Спасибо, князь», – сказала она. Я потрепал ее по плечу, она пожала мою руку, мы посмотрели друг на друга, и она сказала: «Завтра рано на заре буду я полоть капусту», – и остановилась. «Я пособлю тебе», – вскричал я, обнял ее и поцеловал. Она немного показалась сердитою, оттолкнула меня и ушла.

«Ну, – думал я, оставшись один в своем покое, – она рассердилась и, верно, меня не любит». Погрузившись в печаль, вышел на огород свой и ходил в большой грусти. Скоро, однако, утешился. О чем я печалюсь? Она так весело на меня сегодни смотрела. Если не выйдет на огород полоть капусту, то, верно, сердита, а если выйдет, то я побегу помогать ей.

Решась таким образом, я с нетерпением ожидал зари. Ходил по огороду, вытянувшись и не смотря ни на что, шагал по грядам, ломал и давил все, упоен будучи восторгом. Наконец появилась заря. Остановя дыхание, приближился я к плетню, огороды наши разделявшему, устремил глаза сквозь прутья, и взоры мои неподвижно уставились на капустной гряде. Заря становилась алее и ярче, – Феклуши нет как нет. Сердце мое билось необычайно. Если колебался подсолнечник, я вздрогивал. «Это она», – думал я; но подсолнечник переставал колебаться, а Феклуши не было. Отчаяние клубило сердце мое. Я отнял голову от забора и печально взглянул на взошедшее солнце. Свидетель горести моей, зачем кажешься ты? Вдруг подул сильный ветер, и что-то необыкновенно зашумело. «Вот она! – вскричал я громко, не могши удержаться, – вот наконец прекрасная княжна Феклуша!» С сильным уверением о ее прибытии вскарабкался я на забор, вмиг осмотрел все, и что ж увидел? Ужас обнял меня! Воробьиное пугало, ветром поваленное в горох. С раздирающимся сердцем слез я с забора, взглянул на свой огород и ахнул. Холодный пот выступил у меня на лбу. Проклятая княжна, неблагодарная Феклуша! Все переломано и потоптано для тебя, и тебя нет! Прекрасные мои бобы, дорогие огурцы, прелестные тыквы, куда вы теперь годитесь! О я, злодей!.. Рыдая неутешно, пришел в свою избенку и решился не выходить по крайней мере пять дней, и сдержал свое слово до самого вечера. Тут нетерпение мною овладело, и я вышел за вороты: знал я, что в это время и она также выходит. И в самом деле, она уже стояла. С презрением отворотился я в другую сторону, решаясь не смотреть на нее, и не смотрел по крайней мере с минуту.

– Князь! – сказала она вполголоса, и я вмиг обернулся.

– Что? – отвечал я со вздохом, – чего ты еще от меня хочешь? У меня уже нет другого огорода. Поди посмотри, жестокосердая! Сердце твое обольется кровию. И самый злой турка не мог бы хуже сделать! Но сила любви… – Она подошла ко мне, взяла тихо за руку, пожала и сказала с улыбкою:

– Я видела сегодни огород твой, догадалась, отчего он так перепорчен, и слезы у меня навернулись.

– Только? А я так плакал неутешно.

– Ну, милый мой, успокойся, – сказала она еще ласковее. – Ты знаешь тот большой подсолнечник, что в углу, на правой стороне у бобовой беседки?

– Как не знать! – подхватил я весело и, взяв ее за руку, хотел обнять; но, вспомнив вчерашнее, вдруг отшатнулся.

– Там буду я, как скоро батюшка придет от проклятого жида и уснет: он понес сегодни серебряные мои серьги и шелковый платок, последнее имущество, оставшееся мне после покойной матери.

– Ах! милая княжна, – вскричал я с восхищением, – ты сегодни ж получишь две пары серег и два платка; после матушки кое-что осталось, а покойный батюшка не знал и дороги к жиду Яньке.

Мы расстались; а дождавшись зари, перебрался я через забор с своими подарками и тихонько вошел в бобовую беседку. «Жестокий князь Сидор, – говорил я тихонько, – ты забавляешься с жидом, а я страдаю». Прошел час, Феклуши нет. Одурь взяла меня. Я подумал, не хочет ли она поступить со мною по-вчерашнему, и поклялся своим и ее ангелом, что с огородом ее поступлю хуже, чем с своим.

Наконец, спустя немного солнце мое засияло: княжна явилась. Мы сели в беседке, помирились во вчерашнем. Я предложил ей мои подарки, она приняла благосклонно, и утренняя заря застала нас в разговорах самых дружеских.

– Ах! какая нечаянность! Могла ли я об этом подумать? – вскричала Феклуша. Расставаясь, она заплакала:

– Неужели ты меня оставишь после всего?…

– Никогда, милый друг, – вскричал я торжественно, – скорее пусть сгорит дом и градом побьет поля мои. Завтре же иду к князю Сидору и буду свататься; он, верно, не откажет.

– О! конечно, – сказала она, утерла свои слезы и удалилась.

Не знаю, как я мог клясться ей в верности и охоте свататься, когда за минуту до ее прибытия о том и не думал. Конечно, причиною тому было разгоряченное воображение, пылающая кровь, что в тогдашнее время мне и самому показалось, будто бы я никогда не имел другого намерения, как жениться на Феклуше, и был собою очень доволен. Но ах! как скоро взлез на забор и взглянул на огород, сердце мое возмутилось и охота жениться на княжне Феклуше почти отпала. Я вступил в избу и переродился. «Как же глуп ты, князь Гаврило Симонович! – вскричал я со вздохом, – зачем обещал ты свататься, да еще и сегодни! Хоть бы отложил на неделю. С каким намерением женюсь я? Хлеб мой не убран, огород вытоптан: чем жить?»

После таких благоразумных рассуждений решился я нейти к князю Сидору. Однако, как настала ночь, я очутился на бобовой гряде. Феклуша была уже там, и, как я заметил, с заплаканными глазами.

– Что ж не пришел ты сегодни к батюшке? – спросила она печальным голосом, протянув руку. Я надел ей на палец серебряное кольцо.

– Милая моя, у нас обоих теперь ничего нет. Не лучше ли нам подождать месяц, другой? К тому времени уберем мы хлеб и, как примечаю, отелится моя корова. Не правда ли? Гораздо приятнее играть свадьбу получше. Вить не остыдить же себя! Не забудь, кто ты и я; а это бывает один раз в жизни.

– Конечно, так, – отвечала княжна смущенно, – но если к тому времени… – Она остановилась. Я ее понял, и при сей мысли выступил у меня холодный пот. Однако скоро я оправился, и так хорошо и много насказал ей о приличии, какое должно сопровождать свадьбу знаменитого князя Чистякова и знаменитой княжны Буркаловой, что она успокоилась, и мы расстались довольны друг другом.

Глава IV
Намерение жениться

Не думая никогда жениться на княжне Феклуше, как сказал и прежде, я не забывал посещать бобовой беседка и таскал остатки малого имущества после матери моей. Не заглядывая сам в поле, я не мог знать, что Иван, крестьянин мой, ленится; и вместо того, чтобы жать свое поле, он жал чужое, получал плату, пропивал или мотал на таких же княжон, какова и моя Феклуша. Я беспрестанно рыскал за ее сиятельством, скучал приступами ее о сватовстве, она моим отлагательством, и как у меня не осталось уже ни ленточки, то иногда доходило и до ссоры. Однако скоро надеялся я разбогатеть продажею лишнего хлеба и был довольно покоен, ожидая окончания жатвы; а Иван с Марьею уверяли меня, что полевой работы осталось не более как на два дня. Вдруг, к крайнему моему удивлению, заметил я перемену в обращении со мною не только князей, но и крестьян и самых баб. «Боже мой, что бы это значило? – думал я. – Уж не проведали ль о связи моей с княжною Феклушею, и потому каждый, встречаясь со мною, сердится; ибо прежде всяк из них мог надеяться иметь меня своим зятем». Надобно признаться без хвастовства, что я жених из лучших в деревне. Досада моя с каждым днем умножалась, видя их неприязненность, как, наконец, дошло до того, что самые ребятишки, встречаясь со мною, указывали пальцами и укали.

– Что бы это такое? Неужели и ребятишки понимают о таких связях и глупые отцы о том им так рано толкуют?

Нечаянный случай открыл всему причину.

В один день, на закате солнца, стоял я, опершись спиной о забор и с жалостию посматривая на огород свой, в котором ничего не было. Даже что и оставалось цело от моего подвига, то было заглушено крапивою или съедено червями.

Вдруг выводит меня из задумчивости голос моего соседа, который, сидя у того же забора в небольшом отдалении, ломал капусту, а семилетний сын его вытаскивал морковь.

– Тяжело, батюшка, – сказал ребенок.

– Трудись, сын мой, – отвечал отец, – не будешь трудиться летом, нечего будет есть зимою. Вот как, например, беспутный сосед наш, князь Чистяков (фамилия ему очень пристала): у него в доме все так же чисто, как в поле и огороде. В целое лето и не заглянет. Что-то будет делать зимою? Трудись, сын, трудись, не будь так глуп!

Я окаменел. «Как? – думал я, – положим, что у меня в доме и огороде чисто, – это правда; но я ли виноват? Несчастные случаи! Но в поле… Ах, боже мой!»

С трепетом пошел я в избу. «Иван! собран ли в копны хлеб мой?» – «Как же!» – «Весь?» – «До колоса!» – «Хорошо же, мы докажем бездельникам, что ругаться над нами не должно. Завтре чуть свет запряги лошадь в телегу: едем в поле. Надо перевезти хлеб, пока хороша погода».

На другой день, против моего обыкновения, вставши вместе с зарею, кликнул Ивана, чтоб узнать, запряжена ли лошадь. Но не было никакого ответа. Я повторил зов, но тщетно. Встаю, одеваюсь, выхожу в сени: нет никого. Иду на двор и вижу, что бедная лошаденка моя стоит у забора не запряжена. У меня сердце обмерло; иду в огород, не там ли спит Иван, и вижу одну Марью, которая, спокойно сидя на гряде, вырывала репу, величиною в орех, обтирала передником, бросала в рот и за каждым разом твердила: «Такой ли бы репе быть, если б этот негодный лентяй Гаврило Симонович был похож на покойного отца своего!»

– Бездельница! – вскричал я со гневом и толкнул ее в спину ногою. Она перекувыркнулась с гряды в борозду; кое-как выкарабкалась, перекрестилась несколько раз и сказала:

– Что вам угодно, ваше сиятельство?

– Где Иван? – спросил я сердито.

– Вашему сиятельству должно лучше знать, потому что Иван сказывал, что ваше сиятельство приказали ему куда-то сходить по делам вашего сиятельства…

– Чтоб тебя черт взял со всеми сиятельствами, – сказал я. – Где ж он теперь?

– Вашему сиятельству должно это лучше знать, потому что…

– Иван сказывал, что мое сиятельство приказало? – перебил я еще гневливее.

– Потому что он ушел с вечера и до сих пор не бывал.

«Что мне толковать с безмозглою бабою! – подумал я, – пойду лучше лягу спать: авось-либо он подойдет».

– Как придет сын твой, – сказал я, – вели, чтоб он запряг лошадь и ждал меня. Я спал до полудня.

– Иван? – спросил проснувшись. Марья стояла подле меня и плакала. – Что ж ты, Марья?

– Ах, батюшка, – сказала она всхлипывая, – Иван бежал!

– Бежал? – вскричал я и вскочил как бешеный.

– Куда же бежал?

– Бог весть!

– Почему же ты знаешь, что он бежал?

– Мне сказала сегодни Макруша, княжна Угорелова, что он и ее подговаривал бежать с собою.

Долго стоял я подгорюнившись; наконец вышел на двор, чтобы самому запрячь лошадь и ехать возить хлеб. На это был я великий мастер при жизни батюшки. Но увы! какой ужас почувствовал я! Бедная животина от долговременного, как видно, пощения, пала. Я оплакал смерть ее чистосердечно и пошел в поле свое пешком.

Не доходя до него за несколько десятин, в глазах моих зазеленело. Неужели это мое поле? Кажется, я его довольно помню; а теперь вижу луг, ибо там целые стада скотины бродят. Подошед к самой ниве, сердце мое стеснилось: все было измято, избито, вытоптано. Скрепившись, подошел бодро к пастухам.

– Бездельники, – вскричал я гневно, – как смеете вы?… – И губы мои оледенели.

– Что угодно вашему сиятельству? – сказал один из них, подошед ко мне, с насмешкою, – это поле наше!

Его насмешливый вид привел меня в себя.

– Как ваше?

– Крестьянин вашего сиятельства Иван сказал нам, что вы вдруг разбогатели, а потому никак не хотите носить имени хлебопашца: оно очень для князя подло. От имени вашего сиятельства продал он нам это поле, и мы дали ему при многих свидетелях выговоренные деньги.

Он замолчал и улыбался. Презрение сего человека не допустило меня до отчаяния. Побег Ивана ясно доказывал его правду. Я скрепился и, по-видимому, довольно равнодушно поворотил в деревню. Долго слышал я хохот, меня провождавший. «Прощайте, ваше сиятельство, – кричали они вслед, – счастливый путь вашему сиятельству!»

Пришед домой, я не мог долее вытерпеть: повалился на пол брюхом и через час только мог порядочно мыслить. Боже мой! как было грустно тогда моему сердцу! У меня всего оставалась от движимого имения одна корова. Я умолял Марью не уморить и ее с голоду, как сын ее уморил лошаденку.

Несколько дней пробыл я в жестоком унынии. Сиятельная моя Феклуша нередко приходила ко мне в дом напоминать о моем обещании. Я терзался и, сколько мог, откладывал.

В один вечер, сидя печально у окна, размышлял я о горестной своей участи и способах ее поправить. Тщетно ломал я голову; ничего, совсем ничего на ум не приходило. Вдруг подошла ко мне Марья:

– Ваше сиятельство!..

– Поди к черту, где и сын твой!

– Я не с тем сказала, чтобы оскорблять вас. Я хочу пособить вам своими советами. Мне кажется, вы теперь заботитесь о поправлении своего состояния?

– Легко быть может!

– Я вам скажу вернейший к тому способ!

– Вернейший способ? – вскричал я, вскочив, – вернейший способ? А в чем, по твоему мнению, состоит он?

– В женитьбе!

Я остолбенел! Слово «женитьба» было громовым для меня ударом. Мне представилось, что княжна Феклуша как-нибудь прельстила ее говорить мне о женитьбе в то время, когда ей самой некогда было.

– Чтоб черт побрал таких советниц! – сказал я, отворотясь и держась за затылок.

– Почему же не так, – сказала Марья снисходительно, – например, если на примете девица честная, умная, трудолюбивая, деятельная…

– Да, очень трудолюбива, деятельна.

– И, сверх того, довольно богатая! При слове «богатая» вытаращил я глаза.

– Что же, разве не так? Разве Мавруша, дочь нашего старосты, не такова?

Я был в неописанном изумлении.

– Дочь старосты? – сказал я сквозь зубы, заикаясь. – Да кто велит ему отдать дочь за такого, как я?

– Довольно, что вы ей нравитесь, – отвечала весело старуха. – Вы в глазах ее отличный жених, и она, – скажу наперед, что я с нею обо всем переговорила, – она обнаружила крайнее желание быть вашею женою и княгинею, а достатка у нее довольно, чтоб вести себя сообразно такому знатному званию. Не сомневайтесь в успехе! Завтре – праздничный день: оденьтесь почище, подите прежде в церковь усердно помолиться, а потом и к старосте.

Марья удалилась, а я начал приготовляться. Вынул мундир прадеда моего, служившего в каком-то полку унтер-офицером; осмотрел его хорошенько, и он мне показался самым свадебным; снял с гвоздя тесак, почистил суконкою и выколотил пыль из шляпы. Словом, я представлял крайнее удивление крестьян, когда увидят меня в сем наряде, и особливое желание старосты выдать за меня дочь свою. А легши в постель, я мечтал: «Итак, я женюсь на Мавруше! А как скоро женюсь, то денег у меня будет довольно, да и довольно. Сей же час куплю место в городе и построю дом, потому что и подлинно князю Гавриле Чистякову в деревне жить не совсем прилично. Моя княгиня нежного сложения; она не привыкла ни жать, ни полоть, ни платье стирать; ее дело – наряжаться, поплясать и песенку пропеть».

Глава V
Сватовство

Едва рассвело, я уже был на ногах. Образ прекрасной Мавруши беспрестанно носился в моем воображении; но, признаюсь, образ городского дома, карет, лакеев и прочих удобностей в жизни, которые получу я в приданое за нею, еще более пленял меня.

Рассматривая мундир, шпагу, трость и другие оттенки моей знатности, я веселился в духе и в мыслях своих; тысячекратно благодарил премудрой Марье за такую дорогую ее выдумку. «Можно ли и подлинно, – говорил я, смотрясь в лоскуток зеркала, вмазанного в стену, и повертываясь перед оным, – можно ли, чтоб староста, как бы он, впрочем, богат и спесив ни был, отказал такому человеку, каков я? Никак нет, никоим образом. Первое, он побоится оскорбить знатность моих предков; второе, – что еще более, – меня самого, вооруженного сим тесаком, доказывающим самою древностию своею древность благородного моего дома». Одним словом, почти за час до начатия обеден я был готов, ходил по избе, точно как испанец, смотрел на все сурово, и если кошка или барбоска мне попадались, я грозно извлекал меч свой и гонялся за ними, приговаривая такие слова (как покойный батюшка мне рассказывал, хотя ни он, ни отец его не видывали битвы), какие обыкновенно произносят на сражениях, преследуя неприятеля.

В жару такового благородного восторга расшиб не один горшок и два стекла в моем чертоге; зацеплял Марью, отчего она вскрикивала, и, что всего было для меня прискорбнее, продрал дыру на поле мундира о гвоздь. Я остолбенел, Марья еще больше. «Ах! боже мой, – вскричали мы оба с ужасом. – Что теперь делать? Скоро заблаговестят к обедне! Зашить? Так у нас, ваше сиятельство, нет ни на палец шелковой нитки. Ах, прекрасно! Конечно, само счастие, управив стопы ваши за дерзкою кошкою, сунуло полу мундира на гвоздь… Скажите всякому, кто будет спрашивать, да не худо и тем, которые и не спросят, что эта дыра произошла от выстрела пулею, когда один из князей Чистяковых был на престрашной баталии».

Услыша такой прекрасный план, я хотел показать радость, прыгнул на аршин вверх, опустился наземь, тесак запутался между ногами, и эфес его, вероятно перееденный ржавчиною, отломился, отскочил, зазвенел и пал у ног изумленной Марьи.

– Боже мой! – говорил я протяжно, вставая с полу, – ну что теперь скажешь, Марья? – Марья задумалась, потом улыбнулась и сказала:

– Бог все строит на пользу вашего сиятельства. Если кто спросит о причине, отчего у тесака вашего нет эфеса, вы можете сказать, что воинствующий предок ваш, сражаясь с неверными турками, потерял его; а если кто спросит: как? то отвечайте, что он, поражая супостата, ударил по тесаку и клинок отскочил.

– Так эфес остался в руках, – сказал я в недоумении и соображая мысль Марьи.

– То-то и есть! Он кинул эфес, как ненужную ему вещь, а клинок поднял.

– Браво, – сказал я в восторге и пошел в церковь, ибо давно уже звонили. Я думаю, ни сам Август Цесарь не был так горд во время триумфа после победы, решившей участь его, как я, надеясь получить Маврушу, дочь старостину. Я уже пленил ее; теперь остается пленить старосту, а это, кажется, немудрено. Мундир с дырою и тесак без эфеса. О! это – такие великие приманки, против которых устоять трудно! Таковы мысли мои были при входе в церковь; но увы! никто не оказывал удивления. Всякий улыбался с презрением; а как проходил я мимо старосты, то он довольно громко засмеялся, ибо старосте все позволяется. Я оглянулся величаво и приметил краску на лице Мавры, но староста продолжал смеяться.

– Это зависть, – говорил я сам себе и гордо озирался вокруг; но на всех лицах начертано было глубочайшее негодование и даже презрение, кроме княжны Феклуши, стоявшей у дверей. Взор мой встретился с ее взором. Она замешалась и потупила глаза. Мне показалось, что она

довольно стала дородна с тех пор, как перестала посещать меня, чему прошло недели три. Это открытие произвело то, что я обтер пот на лбу и вышел из церкви. Совесть мучила меня.

– Что мне делать теперь? – сказал я, стоя у ворот ограды, потирая руки и стараясь возбудить хотя одну порядочную мысль. Наконец блестящее нечто проникло в душу мою; ум мой озарился светом. «Так, это сделаю», – вскричал я и пошел к дому старосты, клянясь сам себе быть не меньше храбрым в его доме, как предок мой на сражении, где он получил рану в мундир и потерял эфес от тесака.

Я вхожу твердым шагом и вижу в доме великое приготовление к принятию гостей.

– О! конечно, – сказал я заикаясь, – сегодня здесь праздник.

– Так, – отвечала, наморщась, Пегасия, жена старосты, – сегодни Мавруша, дочь наша, именинница.

– Это очень хорошо и прекрасно, – сказал я, не зная, что отвечать приличнее, и стоял, как столб, на пороге.

– Что вам угодно, князь? – спросила Пегасия. – Если нужду имеете до моего мужа, то прошу подождать: он скоро будет.

Слово «князь» привело меня в себя; я поглядел на дыру в поле мундира, на безэфесный тесак и, с важностию вступя в комнату, сел на стуле.

На досуге рассматривал я уборы покоя и не мог не признаться душевно, что ничего лучшего не видывал, и в мыслях своих уже назначал для себя, что было получше и что, без всякого сомнения, староста даст в приданое за своею дочерью; картины особливо привлекали мое любопытство. Они, как жар, горели в красках. Я встаю и по порядку рассматриваю. Боже, какие чудеса! Тут синие мыши погребают фиолетового кота. «Это, видно, заморские звери», – думал я и обратился к другой. О ужас! там представлен был Страшный суд. Ад так широко разинул пасть свою; в нее волокли бояр, попов, старост, князей, убийц, зажигателен; они все были с багровыми от страха лицами. Я глядел далее и смотрел на изображение грехов, также туда идущих. Тут Гордость, там Жестокость, Лицемерство и проч. Я пробежал глазами большую половину их и душевно радовался, что я не убийца, не зажигатель. Правда, при изображении гордости я немного закраснелся, как вдруг попался глазам моим обольститель невинности. Побледнев, отступил я назад. После подошел полюбопытствовать, что будут делать с обольстителем невинности. Феклуша живо представилась моему воображению.

Я вижу: черти раскаленными клещами вытаскивают язык из гортани, приговаривая: «Не лги, не клянись, не обольщай!»

Волосы стали у меня дыбом. О! прекрасная и невинная княжна Феклуша! Что будет с бедным твоим князем Гаврилою Симоновичем. Я схватил шляпу, трость, хотел бежать и отказаться от богатой Мавруши, дабы не быть посмешищем злым духам, как староста, по руку его дочка и множество знатнейших князей и крестьян нашей деревни вошли в комнату.

– Добро пожаловать, князь, – сказал староста с дружескою улыбкою. – Вы кстати пришли; сегодни ангел моей дочери; прошу вместе откушать.

– Я пришел совсем не с тем намерением, – отвечал я, поправляя галстук и опять закрасневшись; я не мог продолжать ни слова. Если б староста был догадлив, то по краске моей, по глазам потупленным легко бы мог догадаться, о чем хочу говорить; но он был как кремень в сем случае.

– Говорите, князь, – сказал он весело, и я кое-как мог дать ему заметить, что хочу беседовать с ним наедине.

Он ввел меня в особливую комнату, посадил, сел сам и опять спросил о причине прихода. Я не знаю, как мог я вести с ним разговор довольно разительно, как сами услышите:

Я. Слыхал я от покойного отца моего, что вы были с ним искренние друзья.

Он. Хотите ли говорить со мною чистосердечно и не оскорбляться, если скажу истину?

Я. О, я вас прошу о том! Дело, за коим пришел сюда, требует чистосердечия.

Он. Так, с покойным отцом вашим жили мы по-приятельски! Он был умен, добр, а что всего нужнее в нашем быту – домостроителен.

Я*(покрасневши и ощипываясь).* Это правда.

Он. Что хотите сказать далее?

Я*(потупя вниз глаза).* На сем основании полагаю я надежду, что вы не откажете выдать за меня дочь свою Маврушу, которую я обожаю.

Признаюсь, я солгал. Не только не обожал я Мавруши, но и не любил ее; а богатство отца ее трогало меня за живое, и его-то больше обожал я. Староста выпучил глаза, посмотрел на меня с ног до головы. Я уверен, что он не догадался заметить дыру на мундире и безэфесный тесак и потом, наморщившись, сказал:

– Князь! Чем будете кормить жену свою?

Что мне было сказать? Я сидел, побледневши и не могши отворить рта.

– Молодой человек, – продолжал староста, – когда хозяйство твое примет лучший вид, когда приведешь его хотя в такое положение, как было при отце твоем, тогда приди и объяснись, – я посмотрю, и может быть… – а теперь до свидания! – Он встал и вышел.

Ледяная гора легла на груди моей. Насилу мог я подняться и вышел, шатаясь от стыда и отчаяния; в глазах моих померкло; предметы то двоились, то совсем исчезали. Однако при такой расстройке моего воображения я заметил, что гости смотрели на меня, как на чудовище. Стол был собран. На нем стояли бутылки с водкою, с медом и пивом и блюда с кушаньем. Все ждали моего выхода, после которого должно последовать благословение священника и пиршество. Я удвоил ход, шагнул; но кто опишет мое тогдашнее положение? Верхний кончик безэфесного моего тесака, довольно высунувшийся, зацепил за висящий конец скатерти; с быстрым моим движением и она подвинулась со всеми своими водками, винами и кушанием. «Ах!» – раздалось со всех сторон; я испугался, сделал усилие, еще шагнул, и все, звеня, бренча и скрыпя, очутилось на земле, и я сам повалился на пол; с быстротою вихря вскочил я, но уже сапоги мои полны были вина и водки, а по лицу струилась жирная лапша.

Я ударился бежать что было силы; мужики смотрели на меня с удивлением, а ребятишки кричали кругом: «Смотри, смотри, князь одурел!»

В таком наряде прибежал я домой. Бедная Марья заплакала. «Что это значит?» – сказала она, трепеща от страха.

«Жестокая судьба моя, – отвечал я, задыхаясь от стыда и гнева. – Раздень меня скорей; обедать я не хочу; мне нужно успокоиться». Я скинул мундир и сапоги, вымылся и лег в постелю, но заснуть не мог. Стыд мой был беспрестанно в глазах моих.

Глава VI
Еще князь

На сем месте своей повести князь Гаврило Симонович должен был остановить продолжение оной по следующему обстоятельству. Около четырех часов пополудни в зале Катерина играла и пела арию; в спальне сидела Елизавета и читала книгу. Князь Гаврило Симонович в теплом сертуке бродил по деревенским улицам; а Простаков в своем кабинетце курил трубку и читал книгу, жена его, сидя у окна, штопала чулки.

Муж*(тихо).* Как величественно каждое слово его! Каждая мысль есть урок!

Жена*(так же тихо).* Ну, нечего! Что слово, то вздор; что мысль, то дурачество!

Муж*(тихо).* Как благороден должен быть взор его в эту решительную минуту!

Жена*(тихо).* Когда он с княжною Феклушею забавлялся в бобовой беседке? или когда бежал домой, опрокинув целый стол у старосты?

Муж*(громко).* Как величественно должно быть тогда лицо его!

Жена*(так же).* Когда он в первый раз явился к нам весь в грязи, в лохмотьях, с расцарапанною харею? Я удивляюсь, сударь, что ты находишь в нем так много отличного; может быть, он и добр, но признаюсь, что ума в голове его ни на полушку. Шутка! потоптать свой огород, из чего?

Муж. Или ты, жена, с ума сошла, или никогда его и не имела. Я читаю историю о Петре Великом и говорил про себя о том положении сего единственного героя, когда он одним словом обезоруживает толпу заговорщиков.

Жена. А я, право, думала, что ты говоришь о нашем князе Гавриле Симоновиче; я не нахожу в нем ничего отличного.

Муж. Зачем ты ищешь везде отличного? Что ты такого в себе находишь? Он, как видно, не знает света, но такое незнание для него спасительно! Он чистосердечен, открывает погрешности свои со всем признанием дитяти. Этого довольно. Кто ходит всегда без маски, того безошибочно можно назвать добрым! Ты мне твердишь беспрестанно, что он очень прост; хорошо! Поезжай я с тобою и дочерьми в Петербург или Москву, – уверяю тебя, большая часть назовут нас, не заикаясь, пошлыми дураками.

Жена. Никак не верю! У батюшки моего бывали в феатрах, в маскерадах и на балах большие господа из Москвы и Петербурга, но ни один и взором не показывал, чтоб я была дура.

Муж. Этому я верю. Пожалуй, не мешай мне!

Он отворотился, принялся опять за книгу и трубку, и спокойствие возобновилось, но ненадолго. С необычайным стремлением старый слуга Макар входит в комнату, где сидели Простаковы:

– Барин! Там внизу у крыльца стоит князь и просит позволения войти пробыть до тех пор, пока починят его карету.

– Починят карету? – вскричали муж и жена, вставши каждый с своего места. – Что это значит? какую карету? Едва ли, жена, не твоя правда. Он – какой-нибудь бездельник и, может быть, тайный враг нашего спокойствия. Нет, нет! сейчас же вон! Скажи ему, Макар, чтоб и нога его не была ни на одной ступеньке моей лестницы. И он еще издевается над нами! Не так ли? Имея всегда невозбранный доступ, он просит позволения войти? Видно, он свое дело уже сделал и теперь хочет позабавиться.

Едва Простаков с беспокойством и горестию оканчивал речь свою, которую жена его одобряла взорами и вздохом, а слуга стоял, ничего не понимая, – вдруг является князь Гаврило Симонович. Все оторопели. Тогда князь, подошед к Простакову, с некоторою тревогою на лице сказал:

– Вашего ответа ждет у крыльца князь Светлозаров, как сказывал его слуга.

– Как? Что? – вскричали опять муж и жена в один голос, взглянули друг на друга и потом на князя Гаврилу с недоумением.

– Как! милостивый государь, – возгласил Простаков, – так не ваша карета в моей деревне починивается?

– Моя карета? – сказал Чистяков с горькою улыбкою. – Было, правда, время, что я езжал в карете, но и теперь должен ненавидеть время то. Вы о сих обстоятельствах жизни моей услышите, когда только того пожелаете и дадите мне пробыть здесь несколько дней.

– Хотя целую жизнь! – вскричал радостно Простаков, обнимая его. – За несколько секунд я тебя обидел, подумав, что карета твоя и что ты для какой-нибудь причины вымышленною бедностию нас обманывал. Прости меня!

– Обманывал? – сказал Чистяков с крайним смущением и отвернулся, чтоб скрыть навертывающиеся слезы. Простаков крайне смешался; ему было больно и досадно, что питал в себе хотя минутное подозрение в честности гостя. Он подал ему руку с ожидающим взором. Князь его понял, они обнялись, и сердца их примирились.

Меж тем в покоях их собрались дочери, несколько девок, лакеев, и все вполголоса твердили: «Посмотрим, какой-то будет другой князь?»

– Милостивый государь, – сказал он Простакову с умоляющим видом, – покуда пробудет у вас сей князь, по наружности богатый, прошу вас покорнейше дать мне на время другое имя и фамилию, – клянусь не с тем, чтоб кого-либо тем обманывать, но я имею важные причины, о коих и вы со временем узнаете и будете довольны. Пусть ни он, ни люди его не знают, что я – князь, и притом князь Чистяков. Это заставит богатого гордеца шутить на мой счет; а чтоб сие было вам приятно, – не думаю.

– Без всякого сомнения! – вскричал Простаков и послал слугу просить князя пожаловать. Слуга вышел, и Простаков продолжал:– Итак, вы останетесь у нас просто, ну, пусть Терентьем Пафнутьевичем, бедным дворянином, разорившимся от тяжбы, и другом или даже дальним родственником нашего дома.

– Но фамилия, – сказал скоро Чистяков, – я вдруг не придумаю.

Все приняли вид изобретателей: Простаков потирал лоб, Маремьяна глядела в потолок и молча шевелила губами; но все не могли на скорую руку привести на мысль приличного названия гостю.

– Боже мой! он уже недалеко, а я еще не имею фамилии. – Все молчали. Вдруг ворона садится на окно и начинает страшно кракать.

– Дурной знак! – возопила Маремьяна.

– Браво! – вскричал Чистяков, – что может быть этого лучше! Назовите меня господин Кракалов. Это, кажется, прекрасное название и самое приличное для дворянина, от тяжбы разорившегося.

Все одобрили его выбор фамилии, и в ту же минуту по всему дому отдан был строжайший приказ и слова не говорить о князе Чистякове, а называть его просто Кракаловым.

С шумом отворяются двери, и, подобно бурному дыханию ветра, влетает новый князь и производит звук, скрып, шарканье. Он казался с виду около тридцати пяти лет, но был так еще жив, так ловок, так привлекателен, что можно было ошибиться и сказать, что еще не более двадцати пяти. Лицо его было нежно; приличная сану важность и вместе тонкая любезность привлекли ему с первого взгляда благорасположение, кроме Простакова и князя Гаврилы Симоновича.

– Позвольте спросить, в ком из вас честь имею видеть господина дому?

Простаков подошел к нему по-простаковски, взял за руку и сказал:

– Я – хозяин, это – жена моя, а это – дочери; прошу садиться. – И между тем сам сел спокойно. Но зато госпожа Маремьяна и обе дочери начали рассматривать нового гостя с ног до головы.

Он был одет великолепно и на три сажени простирал благоухание. На руке сиял дорогой перстень. Он сидел, развалившись в креслах, и левою рукою играл цепочкою от часов, а правою держал небольшую трость, которой золотым набалдашником щелкал себе по зубам.

– Это дочери ваши, сказали вы, господин хозяин?

Едва Простаков отворил рот, как Маремьяна Харитоновна подхватила:

– Так, ваше сиятельство; это – старшая, Елизавета, а это – меньшая, Катерина. Той уже минуло девятнадцать лет, а этой нет еще и семнадцати. И они воспитаны в пансионе, в губернском городе, хотя это стоило нам и…

Простаков горел негодованием. Он кинул грозный взор, который поразил ее тем больше, чем реже она видала от него подобные. Князь не заметил сего, ибо он, как ловкий человек, с благосклонным видом рассматривал закрасневшихся дочерей ее.

– А это, сударыня, – сказал князь, обратясь к ней и указывая тростью на бедного Чистякова, который стоял у дальнего окна и, никуда не глядя, считал на руках пальцы, – это, конечно, из ближних соседей?

– Это… – сказала она, заикаясь и взглянувши на мужа.

– Это, – отвечал Простаков сухо, – дальний наш родственник Терентий Пафнутьич Кракалов, дворянин, от тяжбы разорившийся.

– Я очень рад, что имею честь видеть, – сказал князь, обратясь к Чистякову, кивнув головою и шаркнув ногою, не поднимаясь с места.

– Нечему радоваться, ваше сиятельство, – отвечал Чистяков, поклонясь низко, и вышел в свой покой.

Когда отпили чай, князь просил дозволения быть свидетелем дарований дочерей их. Маремьяна с радостию на то согласилась; пошли в зал, но затруднение было, кому играть и кому танцевать с князем. Маремьяна настояла, чтоб дочери ее по очереди оказали оба сии искусства; но Елизавета упорно настояла, что она готова играть, но танцевать отнюдь не может.

– А я хочу непременно, – вскричала Маремьяна с краскою гнева на щеках. – Не делай принуждения, – сказал Простаков довольно сердито, – что делается против воли, то никогда хорошо не бывает. Елизавета играй: пусть танцует Катерина.

Мать замолчала. Елизавета села за фортепиано; князь с нежностию взял за руку Катерину, и танцы начались.

Нельзя было и подумать, чтоб князь Светлозаров, будучи в таких уже летах, когда мужчина невольным образом, без всякого намерения, принимает вид важный; нельзя было подумать, говорю я, чтобы князь мог походить на молодого беспечного человека, упоенного лестною надеждою любви и счастия. Князя можно бы уподобить вечно юному Аполлону, если бы бог сей когда-либо делал прыжки на Олимпе. Но зато Катерина превзошла ожидание матери, которая блестящими от радости взорами сопровождала каждый шаг ее, каждое движение; но Простаков, сидя в углу, морщился и наконец, не стерпев, сказал вполголоса вошедшему уже и стоявшему подле него князю Чистякову:

– Не правда ли, что злой дух вселился между нами?

– Едва ли не он, – отвечал Чистяков со вздохом и пожимая плечами. – Хотя тут и нет бобовой беседки, однако…

– Черт везде равно ставит свои сети, – отвечал Простаков также со вздохом.

Так протекла большая часть вечера, и на часах ударило девять.

Простаков не вытерпел: «Не время ли отдохнуть вашему сиятельству, чтобы собраться с аппетитом; скоро пора ужинать».

Князь не отвечал ни слова, а продолжал вертеться до тех пор, пока штука кончилась. Он с ласкательною улыбкою подошел к Маремьяне Харитоновне, наклонил голову и сказал: «Надобно отдать справедливость, что прелестная дочь ваша танцует как ангел. Ах, если б ей

больше упражнения. Но с кем и как в деревне!» – «Для деревенских девушек это – последнее искусство, – сказал сухо Простаков, – были бы они только умны».

Маремьяна перебила: «Ах, батюшка ты мой! Почему знать судьбу их? Может быть, весь век случится провести в городе, либо еще и в столице».

Муж, по обыкновению, кинул на нее значущий взор; она замолчала.

Князь подошел к нему:

– Вы, помнится, что-то мне хотели сказать?

– Не угодно ли отдохнуть несколько? Пора ужинать и спать.

– Спать? – вскричала Маремьяна с крайним беспокойством и опустила руки.

Князь вынул часы:

– Боже мой! Что вы это такое сказали? Спать в десять часов? Это значит убивать время. Не есть ли это самые лучшие часы для удовольствий?

– Не принуждайте себя, – сказал Простаков и подошел к жене. – О чем ты ахаешь, сударыня?

Она таинственно взяла его за руку, повела в особую комнату и взором дала знать Чистякову, чтобы и он за ними следовал.

– Ах! какой любезный человек этот князь! – сказала она с восторгом.

– Это могла ты сказать после, – отвечал муж сердито.

Жена. Ты всегда сердишься, друг мой; это, право, неприятно; и еще при посторонних.

Муж. Не подавай к тому причины.

Жена. Теперь ты сам подал ее.

Муж. Чем, например?

Жена. Ты собираешься спать, а и не подумал, где положить гостя?

Муж. В этой комнате на софе. Для приезжего человека, который завтре едет далее, немного надобно; из слуг его один пусть пойдет, где дочинивается карета, а другой пусть будет спать в передней.

Жена. Ах, боже мой! Такой знатный господин на софе.

Муж. Усталому человеку тут гораздо лучше.

Жена. Однако ж ты не так думал, как прибыл к нам князь Гаврило Симонович!

Муж. Потому что я не думал отпустить его скоро: он был несчастен, что доказывал каждый взор его и каждое биение сердца; а этот едет в карете; каждую волю его исполняют несколько человек. Да и что ему тут делать?

Жена. Ах, милый друг мой! Если б он побывал несколько дней! Как бы упросить его?

Муж. Ты с ума сошла!

Жена. Ну, так по крайней мере, друг мой, уступим ему тот покой, где живет князь Гаврило Симонович.

Муж. Князь Светлозаров больше недоволен будет, если заставят его спать не одного.

Жена. Я не то говорю. Князь Гаврило Симонович перейдет на время в те покойчики, что в саду.

Чистяков вдруг подал с радостью свое на то согласие. Жена благодарила его искренно, и, прежде нежели муж успел произнести да или нет, уже был отдан приказ перенести туда постель, несколько стульев и белье, подаренное ему Простаковым.

Таким образом, муж хотел или не хотел, но должен был согласиться.

Вечер прошел в шуме и беспорядке, – пели, плясали, хохотали, льстили, льстились и проч., и проч., и бедный Простаков с крайне пасмурным видом вошел в спальню в половине первого часу за полночь, чего не случалось с ним со дня его отставки. Новый гость расположился в своем покое, а новый Терентий Пафнутьич Кракалов пошел в садовую избушку свою и был веселее обыкновенного от мысли, что она больше походит на древний княжеский дворец его, чем дом господина Простакова.

Глава VII
Гость

Все проспали или по крайней мере пролежали в постелях долее обыкновенного. Никогда так не был пасмурен Простаков, как в сие утро. Неудовольствие вечера оставило впечатление на щеках его и на глазах, а более на сердце. Чтобы сколько-нибудь рассеяться, он намерился, одевшись попросту, как и обыкновенно одевался по утрам, посетить нового пустынника своего Кракалова и разбить грусть с простым, но добрым человеком. Он сошел по лестнице в сад, снял шапку, перекрестился и сказал: «Слава тебе, господи, что эта сиятельная, пожилая уже, повеса сегодни едет; я даже не намерен просить его и к обеду. Пусть провалится к черту!»

Вшед в хижину г-на Чистякова, он его не нашел, а мальчик, приставленный служить ему, сказал, что г-н Кракалов с час как ушел прогуливаться и оставил к нему записку. Простаков берет ее, развертывает не без движения и читает: «Почтенный благодетель мой! Быть с вами каждую минуту считал я за величайшее удовольствие; но присутствие этого князя меня тяготит. Он, оскорбя меня, нимало не тронет, но знаю, что тронет чувствительное сердце ваше; а потому не ожидайте меня к чаю; к обеду я буду и надеюсь, что встретите вы не г-на Кракалова, но уже преданнейшего вам Чистякова».

– Конечно, конечно, – сказал Простаков с довольною улыбкою. – Повеса, конечно, поймет, что, не удерживая его, желают скорее избавиться.

Он пошел по саду, проходил около часу, ибо утро было хотя и зимнее, но довольно сносное, и солнце сияло на безоблачной тверди. Идучи из саду, вздумалось ему пройти двором, осмотреть конюшни, каретный сарай и прочее. Он взошел, и удивление его было немалое, видя незнакомую карету, из которой люди что-то вынимали. Подошед с нетерпением, спросил он: «Чья это карета? Кого еще господь пожаловал?»

Слуга отвечал: «Князя Светлозарова».

Простаков прежде изумился, но после подумал, что, конечно, нежный боярин за большой труд ставит со двора дойти до того места, где чинили карету; что и подлинно составляло около четверти версты. «Что же вы тут делаете?» – спросил он опять.

Слуга отвечал: «В этом ларчике княжеский туалет; в этом бауле его дорожный гардероб, а в этой шкатулке – деньги, дорогие вещи и нужные бумаги».

Простаков отошел, примолвя: «Куда как причудливы эти господа знатные! Чтоб напиться чаю у деревенского дворянина, надобно вытаскивать и туалет, и гардероб, и бумаги. Право бы, я не взыскал, если б он в том же платье сел в карету, в каком явился вчера, в простом дорожнем сертуке».

Едва вступил он в покой, как человек уведомил, что его давно ждут в гостиной зале. Он переменил тулуп на сертук и вошел. Крайне удивился он, увидя отличную радость на лице каждого, кроме Елизаветы. Едва успел сесть, как Маремьяна Харитоновна, с торжествующим видом оборотясь к нему, сказала: «Ты не поверишь, друг мой, как снисходителен к нам его сиятельство. Представь себе: я могла его уговорить дать слово не только от нас сегодни не уезжать, но и пробыть здесь недельку, другую». Простаков оцепенел, взор его неподвижно устремлен был на жену, которая не могла понять, как он столь равнодушен к такому счастию.

Опомнясь несколько, оборотился к князю, чтобы сделать какой-нибудь поклон; но, увидя на руке Катерины бриллиантовый перстень, бывший вчера на руке Светлозарова, взор его помутился, бледность покрыла щеки, чувства его оставили, и он склонился на ручку кресел.

– Ах! – раздалось отовсюду. Никто не мог понять, что ему сделалось; все бросались, суетились, подносили разные спирты, и кончилось тем, что бесчувственного старика положили в постелю.

Несколько часов пробыл он в таком положении; наконец, пришед в себя, видит Елизавету и князя Чистякова, стоящих у кровати его и рыдающих. Они подняли радостный вопль и бросились обнимать его.

– Где мать? Елизавета! где сестра?

– Они кушают; я сейчас побегу.

Чрез несколько секунд прибежали все. Маремьяна бросилась в его объятия; Катерина целовала руку.

– Оставьте меня, безрассудная дочь и еще безрассуднейшая мать; довольно с меня сердца доброй моей Елизаветы и сего почтенного друга; оставьте меня! Я не люблю сердец жестоких и душ ветреных, напыщенных.

Маремьяна и Катерина, стоя, чуть не плакали. Елизавета пала на колена, прижала руку его к сердцу своему и, всхлипывая, спросила:

– Батюшка! чем вы недовольны?

– Чувствительная дочь моя, – сказал он, – или и твое доброе сердце не понимает?

Она воздохнула и потупила взор.

– Ступайте все обедать, ступай и ты, достойный друг мой! Или не слышите, как гость наш, ходя по зале, насвистывает песню? Ступайте; я успокоюсь и выйду сам. Надобно сносить, что посылает нам случай; чем оно неприятнее, тем угоднее небу наше терпение.

– Дай бог, чтоб это было так, – сказал князь Чистяков. – С сей поры я и чай буду пить вместе с князем Светлозаровым.

Все ушли. Простаков, подумав хорошенько, нашел, что он строже, чем надобно. «Князь Светлозаров – повеса, – это правда, но может ли он развратить мое семейство в десять каких-нибудь дней, когда я старался сеять в сердце каждого семена добродетели и чувствительности более двадцати лет? Впрочем, он не столько виноват; женина безрассудность всему причиною. Свят бог, все пойдет хорошо. Я постараюсь не нарушать благопристойности, но также не могу быть и соучастником их дурачеств. У меня есть прекрасные места для прогулок, есть пространное поле и любезный друг Чистяков».

Как сказал, так и сделал. Оделся, вышел и довольно ловко изъяснился с князем в рассуждении своего припадка. Все пошло хорошо; он помирился с женою и Катериною; но строго наказал первой быть бережливее на отдавание похвал, а последней – на принятие оных.

Посему-то он не оставлял посещать часто уединенную обитель своего друга, и с ним или и один разгуливал по снежным равнинам, и дни шли довольно приятно. Мать и дочь поняли все благо его советов, а князь Светлозаров, то приметя, сам сделался постояннее, занимательнее; и хотя сердце Простакова никогда к нему не отверзалось, по крайней мере князь был для него сносен; но не видать его было гораздо приятнее. По таковому расположению решился он на несколько дней съездить в ближний городок и сделал то под выдуманными надобностями, оставив князя Чистякова строгим блюстителем над своим семейством и целым домом. Это Маремьяне показалось обидно, князю Светлозарову – странно, и всем – непонятно.

В один вечер, довольно пасмурный, все семейство и оба князя собрались вместе и ожидали Простакова, ибо он именно хотел быть в тот день, около вечера. Урочный час прошел, и его не было. «Далеко ли-то он теперь?» – спрашивали все поочередно, и никто не мог дать ответа. Еще прошел час, а его нет. Все тревожились, сидели молча; Маремьяна на софе, подле нее Катерина с одной «стороны», а князь Чистяков – с другой, Елизавета у окна на двор и рассматривала снежные облака, носящиеся по небу. Она рада была, что никто не слыхал вздохов ее, а если и слышал, то относил к одному предмету, ибо все вздыхали о замедлении Простакова.

Наконец Елизавета вскрикнула:

– Батюшка едет!

Все вместе подняли и крик и шум: «Едет, едет», так что Простаков услышал то на дворе и приятно улыбнулся. Входит; все стремятся к нему в объятия, и растроганная Маремьяна укоряет его в несправедливости, для чего он не прибыл в назначенный час.

Простаков с довольным лицом сказал:

– Я просидел лишний час у знакомого священника. Увидев там молодого человека с приятным и умным лицом, узнал я, что он ремеслом живописец, разговорился с ним и нашел честные правила, знания достаточные и опытность не по летам. Я решился взять его с собою, чтобы он срисовал портреты со всей моей фамилии, а между тем преподавал уроки в живописи дочерям моим, особливо Елизавете, которая до нее большая охотница.

– Быть может, дорогой за то захочет платы? – заметила Маремьяна.

– Нет, – отвечал муж, – он человек бедный и до того безроден, что не имеет и фамилии и называется просто Никандром.

Князь Чистяков и Елизавета тихонько вздрогнули, каждый вспомнив о любезном ему имени, с которым впоследствии познакомимся покороче.

Наконец этот Никандр входит. Все теснилось к нему; Елизавета также встала взглянуть на будущего своего учителя, и сердце ее потряслось от поражающей радости. Она узнает в нем городского своего друга и отходит назад, чтоб не приметили ее крайнего смущения. Никандр равномерно узнал ее, и смятение его было неописанно; но это причли робости молодого человека перед семейством богатого помещика.

– Ну, господин Кракалов, – сказал весело Простаков, – вот вам покудова товарищ. Я уверен, что вы будете им довольны.

– Будьте совершенно уверены! – отвечал Чистяков. – Я хотя не много из наук знаю, но от сердца люблю знающих людей.

Вечер проведен весело; г-жа Простакова довольна была особенно тем, что живописца поместят с князем Чистяковым и что он не потребует большого содержания.

Глава VIII
Приготовление к свадьбе

Несколько дней сряду, проведено было в распределении уроков, а особливо в экзаменовании Никандра. Молодой человек оказался выше всякого чаяния и надежд г-д Простаковых.

– По чести, он говорит по-французски прекрасно, – сказал князь Светлозаров однажды вечером, сидя в креслах развалившись и ожидая начатия танцев.

– Он еще лучше играет на фортепиано, – сказала Маремьяна, поправляя чепчик.

– И отменно со вкусом рисует, – возразила Катерина.

Елизавета взглянула на него с нежностию ангела, и взор ее спрашивал: «Не правда ли, что сердце твое всего лучше и что любовь твоя неизменна?» Она прочла в глазах его удовлетворительный ответ, вздохнула сладостно, и кроткое удовольствие разлилось во внутренности души ее.

Часы уроков распределены были так: поутру заниматься языками и рисованьем, а ввечеру – музыкою.

В один день, едва только встали от обеденного стола, человек вручает князю Светлозарову письмо. Он смотрит надпись и изменяется в лице; ломает печать, читает, приходит в большее замешательство и говорит сквозь зубы: «Надобно уступить всемогущей силе обстоятельств! Карету сию минуту!»

Как ни приступали к нему, чтобы узнать о причине такого мгновенного отъезда, он довольствовался ответом, что домашние дела не терпят отлагательства; и к крайнему удовольствию большей части семейства, а особливо Простакова и князя Гаврилы Симоновича, карета его загремела со двора. Уезжая, он простился дружески и обещал в непродолжительном времени посетить опять такое любезное семейство. Маремьяна Харитоновна задумалась, Катерина вздыхала, Елизавета была в прежнем состоянии, с тою только разницею, что вздохи ее и колебание груди были не следствие горести сердечной, как прежде, а кроткого упоения любви и надежды. Так протекали дни и недели. С каждым днем Простаков более и более прилеплялся сердечною привязанностию к князю Чистякову и молодому другу его Никандру, ибо сии последние полюбили один другого самою нежною любовию.

Настали длинные декабрьские вечера, и в один из них, когда Никандр с Елизаветою занимались музыкою в столовой, а Простаковы, князь Чистяков и Катерина сидели в гостиной у камина, вдруг хозяин с живостию сказал:

– Что, князь, забыли мы о продолжении твоих похождений, а ты не напомнишь? Зимние вечера всего к тому пристойнее.

– С охотою, – отвечал князь Гаврило Симонович, – если только вы согласны далее слушать. Помнится, я остановился на том, что пришел в великом отчаянии от несговорчивого старосты и лег в постель, чтобы сколько-нибудь прогнать грусть мою о потере Мавруши и ее богатства. Однако сон убегал меня; я вздыхал, стенал и не знал, что делать; наконец встал и сел, подгорюнившись, у окна, положа голову на руку. С великим негодованием смотрел я на резвящихся котенков и щенков и сказал: «Негодные творения! Вы веселитесь, а князь, властелин ваш, в отчаянии!» Я отворотил голову и – о недоумение! – вижу старосту, входящего ко мне с двумя из первостатейных князей нашей деревни. Я вскочил, вытянулся, покушался что-то сказать, но язык мой не ворочался. Слава богу, что староста скоро вывел меня из сего тягостного положения. Он первый начал так:

– Молодой человек! ты, конечно, родился под счастливою звездою! Судьба твоя скоро переменится. Дочь моя перемогла нас всех, и я склонился назвать тебя моим сыном. Чувствуешь ли ты свое благополучие и будешь ли благодарен?

– Великодушнейший из всех старост на свете! – вскричал я с такими размашками, как в уездном нашем городе кричат с подмосток паясы о днях пасхи, – благодарность моя будет неизъяснима.

– Хорошо, – продолжал он, – я сделаю тебе несколько вопросов, и ты клянись мне отвечать чистосердечно.

– Клянусь, благодетель мой, – вскричал я еще громче и пал к ногам его.

– Любил ли ты кого-либо из девок до сих пор?

– Никого, отец мой, – сказал я, несколько заикаясь, что причли, однако же, моей рассеянности от неожиданного благополучия и врожденной застенчивости.

– Будешь ли домостроителен?

– Сколько достанет ума и сил моих!

– Всегда ли постоянно будешь любить дочь мою?

– До кончины живота моего, более самого себя!

– Когда так хорошо, – сказал торжественно староста, – сын мой! Бог да благосло…

И замолчал…

Тщетно ожидаю окончания. Я подумал, что не слишком ли низко наклонился и ему трудно наложить на меня руки, и потому поднял голову, как вдруг почувствовал сзади страшный удар по щеке. Искры посыпались из глаз моих, и я повалился на пол в крайнем смущении. «Бездельник!» – раздался голос; но я в тогдашнем положении не мог распознать его. Несколько времени продолжалось молчание, я немного опамятовался, но не смел не только вымолвить ни одного слова, но и глаз открыть.

Вдруг слышу голос старосты: «Пойдемте, князья! Не я ли вам сказывал, когда вы уговаривали меня согласиться на упрашиванья дочери, что это настоящий плут и целый разбойник? Кинем негодного, пойдем!»

Я слышал, как они ушли, и думал, что один остался. Встал, оглянулся кругом, и волосы поднялись дыбом: вижу князя Сидора Архиповича, едва сидящего на лавке (так угостил его жид Янька), и подле него тихо плачущую Феклушу, которая смотрела на меня с, нежностию.

Отец ее кидал на меня свирепо кровавые глаза свои и значительно трепал рукою по брюху дочери. Она подошла ко мне с тою ласкою, с тою милою откровенностию, которая отличала ее в первые дни любви нашей в глазах моих.

– Как! – сказала она, и слезы опять навернулись на глазах ее, – и ты хочешь быть изменником? Что находишь отличного в Мавре? Молодость? она не моложе меня! Красоту? я прежде тебе понравилась! Невинность? Ах! и я была невинна! Богатство? пусть так, но бог равно взирает и на бедных!

Я не ожидал от нее такого красноречия. Она меня растрогала и мгновенно склонила в ее пользу. Быть может и очевидная невозможность выпутаться из сих обстоятельств и страшные глаза князя Сидора, – не знаю точно, что было причиною, только княжна Феклуша показалась мне тогда столь же любезна, столь прекрасна, столь мила с нажитою своею дородностию, как в первый раз в бобовой беседке, с тонким, легким станом. С любовью родилась решимость, и я обнял ее с горячностию, как свою невесту. Я теперь уверен, вопреки многим, которые говорят, что любовь супругов гораздо холоднее, чем любовников. Может быть, это отчасти правда, но зато первая нежнее, питательнее, благороднее. Словом: мы провели с Феклушею вечер очень приятно и отужинали вместе.

Поутру увидели мы, что почтенный князь Сидор Архипович княж Буркалов спал еще глубоким сном, и потому мы могли свободно беседовать.

– Итак, милая княжна, ныне день нашей свадьбы!

– Так, любезный князь!

– Что ж ты думаешь надеть к венцу?

– Я и сама не знаю, зеленое или алое тафтяное платье, которое ты подарил мне.

– Ни то, ни другое, – отвечал я, – а белое миткальное; оно больше пристанет тебе к лицу, а особливо в такой день.

Она согласилась. Мы встали, оделись, и я полетел к попу, чтобы заблаговременно уговорить его венчать нас как можно позже, ибо дородность моей невесты могла родить в народе некоторое движение.

Глава IX
Свадьба

Я воротился от попа с успехом. Хотя у нас почти вообще водится, что венчают тотчас после обедни, но я склонил его сильными доводами сделать нам снисхождение, дабы не подвергнуть общему стыду отрасли двух знаменитых фамилий князей Чистяковых, Буркаловых и, сверх того, не произвести в приходе небольшого соблазна. Пришед домой, застаю Феклушу в кухне вместе с Марьею, трудящихся в приготовлении легкого обеда, а больше великолепного ужина. Мы ожидали к себе только священника, одного князя и человек двух старых крестьян, ибо прочие князья один за другим отказались. Я немного об этом позадумался; но нареченный тесть мой, который уже встал, сказал мне:

– О чем ты грустишь, сын мой? Разве ты меньше от того князь Чистяков, что прочие князья наши не будут у тебя на свадьбе?

Отведши Феклушу на сторону, я сказал ей:

– Друг мой! я открою тебе за тайну, какую хочу сделать для тебя обнову к венцу! Ты знаешь, что я охотник читать книги. В одной заметил я, что в заморских краях невест украшают розовым венком, когда ведут в церковь. Но как роз у нас нет, да и пора им прошла, то я подумаю и поищу каких-нибудь других цветов, чтоб украсить и тебя венком. Ты ничуть не хуже заморской невесты, притом же все-таки княжна. – Она пожала мне руку, и я улыбнулся великолепной своей выдумке.

Мы отобедали наскоро.

– Княжна, – сказал я, – пора тебе примеривать платье, а я пойду искать приличных цветов. Ну, где твое приданое? – Она закраснелась и сказала невинно:

– Это приданое получила я от жениха!

Тут вынула она ключ от сундука, который был уже перенесен ко мне в дом, как и все имущество тестя; начала отпирать, но не тут-то было: ключ вертелся кругом, да и только. Долго смотрел я; наконец сказал с нетерпением:

– Дай-ка мне, я лучше тебя это знаю, – но и я вертел, вертел, – всё то же, – Что за черт? – вскричал я, поднимая крышку, и она без всякого усилия поднялась. – Да тут и замка нет, – говорил я, и глядь в сундук, ничего не было. Княжна побледнела, стоя на коленах и смотря на голое дно сундука. Я был почти в таком же положении.

– Ну, которое же платье, – спросил я, несколько рассердясь, – наденешь ты к венцу? красное, зеленое или белое?

Феклуша заплакала, протянула ко мне руки и сказала с чувством соболезнования:

– Это все – батюшкины проказы!

– Да где он? – вскричал я со гневом и встал.

– Не сердись, милый друг, не брани его. Я лучше пойду к венцу в праздничном набойчатом сарафане, нежели видеть его печальным. Бог нам поможет; мы и еще наживем.

– Наживем или нет, – сказал я сурово, – не в том сила. Но как пойдет к венцу князь Чистяков с своею невестою княжною, которая будет в набойчатом сарафане? это больно; а не без чего я хотел еще сделать тебе цветочный венок на заморский манер?

Феклуша опять заплакала.

– Не плачь, мой милый друг, – сказал я, смягчась, и вдруг луч разумения озарил меня. Я выхожу в кухню и вижу, что князь Сидор Архипович, сидя на скамейке, спокойно курит трубку и точит лясы с Марьею.

– Батюшка, – сказал я довольно сухо, – где платье и белье Феклуши?

– Спроси о том, сын мой, у жида Яньки: он это должен лучше знать.

– Марья! ступай за мной!

Мы вышли. Марья смотрела на меня с удивлением. Подошли к хлеву, где стояло единственное мое имущество – корова. Опутав рога ее веревкою, дал я в руки Марье большой прут и велел подгонять.

– Ваше сиятельство, сиятельнейший князь! – говорила старуха со страхом, – куда ведете вы корову?

Я молчал. Вышли со двора и направили путь свой к чертогу жида Яньки.

– Куда вы ведете ее? – кричала Марья с горестью.

– Подгоняй, Марья, – отвечал я, – видишь, она упрямится.

– Да что мне делать, ваше сиятельство?

– Бей ее покрепче, – говорил я с важностию.

– Да куда ведете вы ее? по крайней мере скажите; если убить, так напрасно: я к ужину припасла пару гусей, пару уток доморощенных; им не больше как от пяти до шести лет.

– Бей покрепче корову, – кричал я.

– Да куда ведете вы ее?

– К жиду Яньке, – сказал я вполголоса, – выкупить подвенечное платье моей невесты!

Пораженная ужасом, Марья чуть не упала без чувств, и это, конечно, было бы, если б не ухватилась она за хвост коровы, которая или уже озлилась, что я так свирепо тащил ее, или не узнала Марьи, изрядно лягнула ее ногою, так, что бедная старуха покатилась наземь.

Вставая и отряхивая пыль, сказала она:

– Когда так, когда это в пользу ее сиятельства Феклы Сидоровны, – буди по воле вашей! – Она отерла слезы и спокойно подгоняла корову.

Был праздничный день, и народу всякого звания и возраста было довольно на улице; все знали, как я, впрочем, ни таился, что сегодни венчаюсь.

– Смотрите! смотрите! Вот жених, – говорили одни, указывая на меня пальцами; другие отвечали: «Тише, не мешайте, он сегодни справляет бал и ведет корову к жиду». Видно, злой дух надоумил их или князь Сидор разболтал, что, платье заложено у жида, и всякий догадывался, что я иду в таком торжестве выкупать его.

Хотя мне и крайне стыдно было, но образ милой Феклуши развеселял меня. «Как она будет хороша, – думал я, – в белом платье и цветочном венке! Тогда-то посмотрю, что вы скажете, проклятые ротозеи!»

Таким образом ополчась мужеством, бодро вел я корову свою к жиду и, несмотря на смешанный крик народа, кричал громче всех:

– Марья, бей крепче!

Мы достигли обиталища чада израилева. Несколько поспорили, пошумели, то надбавляли, то убавляли цену, а кончилось тем, что Янька отдал все имение будущей жены моей и, сверх того, пять рублей деньгами и два штофа водки. Я думал, что подобной великолепной свадьбы и самый знатный из предков моих не праздновал. Водку отдал я нести Марье, а сам, с узлом платья и пятью рублями, как стрела бросился к своему дому, дабы сиятельнейшей невесте доказать любовь свою.

– Вот, княжна, возьми и располагай всем, – сказал я, подавая ей узел с платьем. – Изволь выбирать, что тебе полюбится: это ли красное, или это зеленое, оба тафтяные платья, и это белое, хорошего миткалю. Правда, княгиня, мать моя, была несколько тебя повыше, но ты теперь зато вдвое толще. – Тесть мой сидел в другом углу, и приметно было, что половина свадебных напитков ускользнула. Я дал ей то на замечание; она поставила мне в виду, что оно справедливо; и оба положили на мере спрятать подалее другую половину.

– Не печалься, – сказал я тихо, но с торжественным видом, – Марья принесет довольно.

– Как! – возразила будущая моя княгиня, оторопев и скидывая коты, чтобы надеть башмаки, – да откуда возьмет Марья?

– Молчи, мой друг, – отвечал я прямо по-княжески, – ты узнаешь больше. – Тут отвел ее за перегородку, в другую избенку, которую нарекли мы величественным именем опочивальни, и сунул в руку полученные мною от жида пять рублей. «Только отцу не сказывай! Это на домашние наши расходы!» – сказал я ей на ухо.

– Сохрани бог! – отвечала она после некоторого исступления, в которое приведена была такою нечаянностию. Отроду своего не имела княжна моя вдруг столько денег. Сколь же прелестно показалось ей супружество!

Меж тем как обедали, рассуждали, думали и передумывали, как считался я с жидом и прочие заботы нас занимали, смерклось.

– Феклуша! одевайся, а я пойду искать цветов тебе на голову.

Княжна начала убираться, а я пошел в огород и задумался. «Где мне взять теперь цветов? время осеннее, все поблекло и пало!» Как я ломал себе голову, ходя по запустелому моему огороду, вдруг увидел багряные головки репейника. Искра удовольствия оживила сердце мое, я бросился к нему, сорвал головок с полсотни и в совершенной радости тихо пошел домой. «Разве это хуже розы? – думал я сам в себе. – Она цветет, правда, нехудо и запах недурен, но все так скоро проходит, что, не успеешь взглянуть, ее уже и нет! А репейник? О прекраснейший из цветов! Тщетно ветер осенний на тебя дует, – ты все цветешь! О провидение! если б я не тосковал о Феклуше, когда она не вышла на заре полоть капусту, и не перетоптал всего своего огорода, верно бы репейник истреблен был Марьею!»

Так рассуждая, вошел я в комнату, где была Феклуша, уже одетая в белое платье и опоясанная розовою лентою. Она не могла наглядеться на себя в обломки моего зеркала.

– Вот тебе и венок, – вскричал я радостно и высыпал на стол целую полу цветов своих.

– Это репейник! – сказала она печально.

– Да, репейник, – отвечал я, – единственный цвет, какой теперь найти можно. Не тронь, я все сделаю сам, а теперь пойду одеваться.

Мой туалет скоро кончился. Я надел мундир, обыкновенные свои чистые холстинные шаровары и шляпу; потом начал делать венок, и мне показалось это так мило, так приятно и так легко, как нельзя лучше. Стоило только одну головку прислонить к другой, они вмиг сживались. В две секунды венок был готов, и я с торжествующим видом надел репейников венок на голову сиятельнейшей моей княжны, легонько придавил, и он так плотно пристал, что я не опасался, чтобы могла выпасть хотя одна головочка.

Таким образом, взявши под руку мою Феклушу, повел ее в церковь, в сопровождении званых гостей.

– Что-то скажет теперь Мавруша, старостина дочь, увидя невесту мою в таком наряде? Ага! Вот что значит быть княгинею.

Но едва показался я на улице, глаза мои померкли. Множество народу стояло кругом. Все подняли ужасный хохот. Что было этому причиною, – я и до сих пор не знаю. Феклуша смешалась, шаг ее был неровен, и от того дородность ее была еще приметнее.

– Не робей, – говорил я ей на ухо и выступал самыми княжескими стопами. Но увы! беда беду родит! Не знаю, что-то вздумалось Феклуше почесаться в голове: одна головка репейника выпала из венка, – она увидела это несчастие, хотела поправить свой наряд; выпала другая, – княжна совсем потерялась. – Не тронь больше, – сказал я ей тихо.

Однако любопытные тотчас подняли две выпавшие головки. «Репейник!» – раздалось со всех сторон, и хохот умножился; Феклуша чуть не упала в обморок. «Я умираю от стыда», – говорила она, облокотясь на мою руку. «Это пройдет», – отвечал я несколько сердито.

Наконец дошли до церкви и обвенчались без всякого приключения, ибо священник, как званый гость, не впустил туда никого лишнего. По окончании бракосочетания он дал нам совет – не идти назад улицею, а лучше огородами.

Мы послушались. Хотя путь был затруднительнее и гораздо далее, зато никто нас не беспокоил.

До дому достигли благополучно. Несколько гостей и тесть мой сидели уже за столом и забавлялись подарком жида Яньки, Все было тихо и покойно. Правда, покушались было некоторые крестьяне и крестьянки взлезть на забор, чтоб опять подшутить над нами, но догадливый на сей раз тесть мой, не сказавши и нам, вышел со страшною дубиною, погрозил переломать им руки и ноги; они соскочили с забора, ушли и после не появлялись.

Глава X
Отчаяние и утешение

Несколько времени прошло у нас в упоении любви, мечтательности, а потому и счастии. Я уверен, что счастие людское не всегда есть плод ума, а более цвет воображения. Княгиня Фекла Сидоровна казалась мне единственною в свете женщиною; ее ласки одушевляли меня ежечасно; я был весел и доволен более старосты, а особливо пока велись еще понемногу деньжонки, данные жидом в сдачу от моей коровы. Но увы! они чрез несколько недель истощились, и я, глядя на прекрасную мою супругу, совершенно не знал, что делать. Часто, углубясь в размышления, восклицал я: «О родитель мой! сколь справедливы были твои наставления, и несчастный сын твой не хотел им последовать! Если б я обрабатывал поле, не полагаясь на крестьянина своего Ивана; если б не ломал огорода, осердясь, что княжна не вышла полоть капусты; если б я не таскал ей имения, оставшегося от моей матери, то она же теперь имела бы его, а между тем корова была бы дома, и мы бы не терпели во всем крайней нужды!» Но что делать! Я смотрел из угла в угол, от потолка на пол; как здесь, так и там все было пусто. Приближался день родин жены моей, а мы не только не имели ничего, чтобы как-нибудь встретить нового в мире гостя, но еще и сами, и то по милости крестьянки своей Марьи, только что не умирали с голоду. Один князь Сидор Архипович, тесть мой, менее всех о том заботился.

Мне ничего не осталось делать, как просить помощи у сердец сострадательных; крайняя нужда и почти невозможность как-нибудь честнее поддержать себя меня к тому принудили. Однако я никак не забыл знаменитого своего происхождения и решился, чтобы не оскорбить теней почтенных предков моих, которые и подлинно никогда милостыни не просили, действовать так, как благородные испанцы, то есть вместо того, чтоб просить пять копеек, они говорят с величавою уклонкою головы: «Милостивый государь! одолжите мне в долг на малое время пятьдесят тысяч пиастров!» Снисходительный человек, понимая таковой язык, подает просителю две копейки, и сумасбродный дон, с надменным видом приняв их, отвечает: «Очень хорошо! в непродолжительном времени, как скоро обстоятельства мои поправятся, вы получите капитал свой с указными процентами».

Мне казалось, что я, как урожденный князь, ничуть не хуже гишпанского дона, а потому на сем глубоком рассуждении и основался.

Поздо ввечеру одного дождливого осеннего дня княгиня моя начинала мучиться родами; добрая Марья ей прислуживала. Я ударился бежать, просить в долг несколько денег; но к кому идти прежде? Пошел наудачу, и первый дом, стоивший, по моему мнению, того, чтоб войти в него, был князя Бориса. Я тем надежнее вошел, что он за несколько недель был у меня на свадьбе и угощен недурно.

– А! любезный друг, – сказал он весело, вставая с тревожного соломенного стула своего и подавая мне руку, – добро пожаловать! что, здорова ли княгиня?

Я. Не совсем, ваше сиятельство. Вам небезызвестно, в каком была она положении под венцом: теперь мучится родами.

Он. Поздравляю, любезный друг! Дай бог наследника!

Я. Я и сам того желаю; но признаюсь, князь, эти обстоятельства требуют расходов; а у меня нет в доме ни копейки.

Он. Ох! это крайне дурно, – я знаю по себе! Вот бы надобно поновить дом; дочь – невеста; съездить бы в город за некоторыми покупками, а как денег нет, то и сижу дома.

Я. Но мне, ваше сиятельство, надобно очень немного!

Он. Я думаю, что вы, любезный друг, продав поле так выгодно, получили не меньше, как я за проданный свой хлеб. Простите, любезнейший друг, простите. Бог милостив! Авось на будущий год получше будет урожай в вашем огороде.

Он вышел в особую горенку, а я с ноющим сердцем – на двор. Ночь была не лучше дня; мрачные тучи носились стаями по небу; дождь лился ведром. Я хотел было воротиться домой, но подумал сам в себе: «Что найду дома? Страждущую жену и, может быть, уже плачущего младенца! Боже! – сказал я в страшном замешательстве, – для чего каждый человек с таким удовольствием стремится произвести на свет подобное себе творение, а редкий думает, как поддержать бытие его и матери, не говоря уже о своем?» Я весь вымок до кости, но еще хотел попытать счастья. Однако где я ни был, везде говорили мне то о проданном поле, то о вытоптанном огороде, то о бобовой гряде; а инде советовали, как тесть мой, князь Сидор Архипович, живет со мною, продать дом его и тем поправить свое состояние. «Это весьма изрядный совет, – думал я, – но теперь не у места».

Словом, я до тех пор шатался по улицам, пока везде погасили огонь. Тщетно стучался я у старосты, у священника, у всего причета церковного, – никто даже не взял труда и спросить, кто там и что надобно?

В первый раз чувство, близкое к отчаянию, поразило душу мою. Никогда прежде не имел я жены; а хотя княгиня и была для меня почти то же, но я не видал ее борющеюся с болезнию при выходе на свет плода любви несчастливой.

Однако ж как нечего больше было делать, то и побрел домой.

Подходя к воротам, крайне удивился, видя довольно хорошее освещение. Сердце мое отдохнуло. Конечно, жена таила от меня какое-либо сокровище, что так пышно освещает ночь родин своих. С радостным чувством подхожу к дверям, и слух мой поражается младенческим криком дитяти и болезненным воплем матери. «Итак, она родила? Что ж заставляет ее так вопить?» – думал я. Я слыхал, что как скоро женщина родит, то уже может воздержаться от криков.

Отворяю дверь, вхожу, творец милосердый! Посредине комнаты вижу стол, покрытый толстою простынею, вокруг его четыре подсвечника, а на нем бездыханное тело тестя моего, князя Сидора Архиповича Буркалова.

– Что мне делать теперь несчастному? – вскричал я и упал на пол без чувств.

Пришед в себя, я вижу в ногах моих рыдающую Марью, в головах – жида Яньку.

– И ты здесь, окаянный! – сказал я со гневом. – Верно, ты уморил его?

– Никак, ваше сиятельство, – отвечал жид, – он сам был несколько неосторожен. С утра самого сидел все у меня. Почему и не так! Я добрым гостям рад. К вечеру подошли еще кое-кто, начали его утешать в печали по случаю родин дочери и неимущества, и до тех пор утешался, что я должен был ему напомнить: «Ваше сиятельство, – сказал я, – пора отдохнуть». – «Не твое дело, жид», – отвечал он сурово, замахивая палкою. А вы сами знаете, каков был покойник! Я замолчал. Следствие видимое. Его ударил паралич или что-нибудь другое, и он умер скоропостижно. Я тотчас велел потушить огни, взял его с работником на плеча и принес сюда. Клянусь Моисеем, без всяких залогов дал я Марье денег столько, что она могла взять из церкви вашей подсвечники и нанять псаломщика.

Я взглянул на Марью, и удовлетворительный ответ ее подтвердил слова Янькины. Он вскоре ушел. Сердце мое обливалось кровью! Жена моя рыдала, дитя плакало. Мысль, чем я завтра прокормлю их, тяготила душу мою. Я сидел у окна, облокотись на руку, и неподвижными глазами смотрел на сине-багровый труп моего тестя. Так протекло несколько времени, горестнейшего тысячекратно, чем то, когда я ждал зари, дабы видеть княжну Феклушу, полющую капусту, и, не видя ее, топтал огород.

Петух мой прокричал уже несколько раз, псаломщик зевал за каждым словом; сверх того, из другого покойчика слышал я всхлипывания моей княгини и вопль молодого князя; как я хотел к ним войти, но отнюдь не позволяла Марья, ибо сего не водилось ни в одной княжеской фамилии в нашем околотке. Я должен был согласиться, но не знал, что дальше делать; а смотреть на тестя мне наскучило. За лучшее счел пойти в хлев, пустой с тех пор, как отвел

корову я к жиду Яньке, и там попытаться, не засну ли. И подлинно, противу чаяния моего, я скоро уснул. Солнце взошло уже высоко, а я не выходил еще из своей опочивальни, как услышал вопль Марьи, меня всюду не находящей. Выхожу и вижу у ворот множество народа обоего пола и разного возраста толпящихся смотреть. Я не понимаю, какое удовольствие находят люди смотреть на подобные картины. Уж пусть бы я был богатый человек, следовательно, им можно бы позевать на то великолепие и пышность, которые будут сопровождать тело тестя моего к знаменитым его предкам; а то стоило ли труда видеть обезображенный труп погибшего скоропостижно и едва ль не от невоздержания.

. . . . . .

Я сам без трепета не мог взглянуть на него!

«Скоро начнутся обедни, – думал я, – а нет еще ни гроба, ни того, во что бы нарядить князя Сидора». «Постой, – сказал я подумавши, – я одену тестя в свой мундир, мне он более не нужен; гроб сделаю сам из досок, которые у меня на дворе. Увы! необходимость и не то еще заставляет делать!»

Я колол доски, сплочивал, строгал, перестрогивал и все делал с великим усердием и поспешностию, чтоб не опоздать к обедне, к чему время уже подходило. Вдруг слышу позади себя шум, оглядываюсь, и удивление мое было неописанно!

Вижу на заборе, со стороны огорода моего тестя, новый изрядный гроб, выкрашенный красною глиною. С восторгом смотрел я на гроб, как жених смотрит на брачное ложе свое, и в тишине сердца благодарил провидение, удостоверяясь, что сие его дело, тем более что невидимая рука поддерживала гроб. Я страшился подойти к нему, как бы к чему священному, и стоял, спустя руки, а топор и скобель давно из них выпали. Но удивление! далее вижу высовывающуюся небольшую бородку, там всю голову, узнаю и вдруг бросаюсь, крича изо всей силы: «Янька! Янька!» – «Поддержи гроб! – сказал он, – а я влезу на забор, и вместе снимем».

С торжеством внесли мы такой красивый гроб в комнату, к необычайному удивлению Марьи и двух пастухов, купивших у Ивана мое поле. Они пришли пособлять в хлопотах моих. «Конечно, мы бы не смели предложить услуг, – говорили они, – если бы не видали, что никто из первостатейных не хочет того сделать». Взор мой отблагодарил их.

– Любезный Янька! – сказал я, – уложи же, с помощью Марьи и сих честных людей, тело во гроб, а я побегу к попу распорядиться.

– Распорядиться? – сказал Янька с удивлением. – Да в чем тут распоряжаться? Это не купля, не продажа.

– Чтоб похоронить моего тестя с подобающею честию! – отвечал я.

Глава XI
Похороны и проповедь

В доме сказали, что батюшка уже ушел в церковь, поспешаю туда и, к счастью, нахожу, что он не начал еще облачаться.

– Что скажешь, князь? – спросил он.

– Я имею к вам нужду, батюшка, – отвечал я печально.

– Очень часто, свет!

– Что делать, отец мой! За год перед сим хоронил я отца; за несколько недель я венчался и тогда небольшую только имел нужду, ибо дело состояло только в том, чтоб обвенчать попозже обыкновенного. Сегодня имею я крайнюю нужду, ибо сбираюсь хоронить тестя, а ничего не имею.

Поп очень пасмурно сказал:

– Я об этом слышал, и смерть его довольно сомнительная.

– Почему, батюшка? – спросил я с жаром.

– Он умер в шинке у жида, и, как слух носится, чуть ли не от вина.

– Это несбыточное дело, – отвечал я, – умереть скоропостижно можно везде. – Поп удивился моей твердости и молчал.

Ободрившись тем, продолжал я:

– Что же касается до жида Яньки, то это такой жид, – такой, каких в свете мало.

– Может быть, сын мой! Есть люди честные во всяком звании и состоянии, – сказал он. Смирение мое смягчило его. Он сказал: – Приноси тестя в церковь, а я в удовольствие твое, а вместе и в наставление, между прочим, скажу и проповедь.

Я вышел в крайнем восхищении.

«И проповедь! – говорил я улыбаясь, – да этакой чести не имел ни один староста, ни один князь нашей деревни. Спасибо, батюшка, спасибо!»

Заблаговестили. Я и два пастуха подняли гроб и понесли, ибо Яньке, яко жиду, не позволяла благопристойность нести гроб православного христианина.

Не хвастовски сказать, все выпучили от удивления глаза, видя такое убранство. Все хранили глубокое молчание, смиренно крестились и кланялись. Я был полон восхищения; шел, держа на плечах изголовье гроба, не смотрел ни на кого, подобно герою, шествующему в триумфе. Мы проходили ряды, и позади нас раздавался шепот: «Право, прекрасно! кто бы мог придумать!»

«Ага! – сказал я сам себе с напыщенней гордости, – вы этого и не думали? Мало ли вы чего не думаете! Вот каков князь Гаврило Симонович княж Чистяков!» Обедня оканчивалась, сердце мое трепетало от странного движения. Как слушать мне проповедь, где будут в моем присутствии хвалить добродетели и великие достоинства моего тестя? не будет ли это самохвальство, непростительная гордость? А гордость меня только что теперь попутала! Дай отойти со смирением!

Я сделал шаг назад, но ложная совесть сказала мне: «Куда ж бежишь ты? или смеешь хвалиться чужими добрыми делами? Всего вернее, что поп подшутил над тобою. С какой стати говорить проповедь над таким человеком, хотя, впрочем, он – родовой князь. Верно, верно, он подшутил над тобою».

Послушав внутреннего гласа сего, я подвинулся опять и стал у ног покойника. Но как же велико и не неприятно было мое удивление, когда по окончании обедни поставили налой и поп вышел с проповедью! Все князья, крестьяне, княгини и княжны двинулись вперед и так прижали меня ко гробу, что хотя бы и хотел отойти, то уже невозможно было.

Молчание распространилось; всех взоры обращены были то на попа, то на меня. «Как это чудно! – говорили шепотом. – Видно, тут что-нибудь да кроется; видно, бедность их умышленна! Года за три хоронили прежнего старосту, но проповеди не было». Как ни тихо они говорили, но я не проронил ни одного слова и с легкою краскою незаслуженного удовольствия потупил взоры. Мне приятно было слышать их заблуждение, будто с некоторым намерением кажусь я бедным, а в самом деле великий богач. Вскоре после того я стыдился сам такой слабости, или, лучше сказать, глупости; по времени узнал, что большая часть людей так поступает.

Священник осмотрелся, вынул небольшую тетрадочку и начал:

– Благочестивые христиане! Послушайте, что я скажу вам ныне; не неприлично будет к вам слово мое, ибо предстоит скоро великий праздник, именно чрез восемь дней, в следующее воскресенье. Праздник, благоверные слушатели и слушательницы, слово «праздник» для многих из вас есть пресоблазнительное слово. Вместо того чтобы помыслить о божестве и молитве, вы, вставая с постелей, – посудите, православные! – вы помышляете о невоздержании и пьянстве; и выдумываете, что бы заложить, если у вас нет наличных денег!

Такое вступление поразило меня; я поднял глаза и еще больше покраснел не от стыдливости, как прежде, а от какого-то тайного предчувствия. Поп продолжал:

– Хотя, христиане и христианки, церковь во дни празднования некоторых угодников и разрешает вкусить вина и елея, что вы найдете в киевских святцах во многих местах, например: память Алексея божия человека, разрешение вина и елея; празднество благовещения, разрешение вина и елея; но в каких святцах, о православные! начитывали те, кои умеют читать, или слыхали, кои не умеют, чтобы написано было: память Алексея божия человека, разрешение напиться допьяна; празднество благовещения, разрешение шататься по улице со стороны на сторону, биться головою об заборы как угорелому и валяться в грязи, как негодной свинье! Так, этого нигде не написано, а нередко бывает в нашей деревне.

Но оставим это; вы чувствуете, как сие гадко, богу не угодно, и даже в глазах нас, грешных, противно. Обратим беседу нашу к тем, кои и будни превращают в такие праздники, то есть праздники на свой манер. Они ничего не делают, как только пьянствуют и спят, опять пьянствуют и опять спят. Что от сего выходит? Они бывают позор миру и человеком. Вытаскивают из дому своего помаленьку все, до последней нитки, нищают, делаются прежде противны другим, потом – себе. Совесть начинает их жестоко мучить. Но вместо того, чтобы раскаяться и перестать грешить, они, окаянные, конечно по наущению столько же окаянных духов, думают опять утопить совесть свою в вине и больше прежнего пьянствуют. Что далее? Дети начинают презирать их и не слушаются; сыновья обольщают девок; дочери даются в обман парням; все в доме становится вверх дном. Видят сие пребеззаконные отцы их и не смеют сказать ни слово, ибо беззаконие пред очима их. А какой конец всему? От излишнего невоздержания тело их поминутно слабеет, и они, по числу лет своих долженствовавшие бы еще долго жить, умирают без покаяния, оставив семейство в стыде, горести и бедности.

Имеяй уши слышати, да слышит![45] Аминь.

– Аминь! Аминь! – шептали мне на ухо пастухи; потому что с средины проповеди я задрожал, судороги подхватили меня, и, без сомнения, упал бы, если б не было так тесно и верные мои пастухи не поддержали под руки.

Я стал на ноги, с спокойным хотя по наружности духом, отслушал отпев и, взяв на плеча гроб вместе с сотрудниками, понесли сокрыть в землю. Никого, кроме нас, тут не было. С плачем засыпал я могилу глиною, вздыхал и думал: «О любезный тесть мой, князь Сидор Архипович! Должно ли было, чтобы и конец твой и похороны были так же оскорбительны для твоей памяти, как жизнь для детей твоих?» Я пригласил пастухов к себе домой, по крайней мере дать

[45] *…имеяй уши слышати, да слышит!* – Выражение, встречающееся в Евангелии (например, Матф., 11, 15). (Комментарий Ю. Манна).

им за труды по куску хлеба; они приняли предложение с дружелюбием и вместе пошли, я все еще плача, а они вздыхая, а все вместе домой.

Едва князь Чистяков произнес сии слова с чувством неприятного воспоминания, как вдруг вбежал слуга с докладом, что князь Светлозаров изволил приехать! «Ах! как это некстати», – сказал Простаков, вставая. Маремьяна торопливо кинула чулки под софу, Катерина, закрасневшись, спрятала свои в карман, а князь Чистяков сказал, вздохнувши: «Теперь я опять господин Кракалов, дворянин, от тяжбы разорившийся».

Глава XII
Небольшое открытие

Около недели по вторичном приезде князя прошло уже в доме господ Простаковых в головокружении, что крайне мужу не нравилось. Елизавета с точностию занималась своим учением, читала, писала, рисовала; Никандр так был прилежен, что в доме не знали, ученица ли учиться, или учитель учить больше имеют охоты. Катерина обыкновенно пела, играла, танцевала, руководствуема всегда и во всем князем; Маремьяна бегала беспрестанно из залы в кухню, из кухни в залу, смеялась, восклицала, ощипывалась. Чистяков обыкновенно переходил из гостиной, где занималась Елизавета с Никандром, в залу, где целый содом поднимали князь с Катериною, улыбался, пожимал легонько плечами и чесал голову, а Простаков, все то видя, морщился и сильно пожимался. Так протекло еще около недели, как однажды Простакову надобно было посмотреть свои гумна, овины и все принадлежащее к хозяйству, ибо он собирался ехать в город, искупить кое-что к празднику рождества, нужное в домашнем быту, и подарки для всех в доме, что он делал непременно каждый год. Он пригласил проходиться с ним по деревне князя Гаврилу Симоновича; старик с улыбкою добросердечия говорил: «Бог совсем не по заслугам наградил меня хорошим достатком: имею слуг, кареты, покойный дом, сытный стол, и это непрерывно; а потому хочу, чтобы те, кои мне служат, хотя несколько дней в году имели отдых, покой и невинное удовольствие! И горнишная девушка и крестьянская девка, точно как и дочери мои, имеют одинакое стремление нравиться, любить и быть любимыми; а для сего иногда сверх красоты и невинности понадобится отличное несколько одеяние и уборы. На дочерях моих блистает золото, камни, жемчуг; почему же не желать моим дворовым и крестьянским девушкам иметь алые ленты, цветную набойку и медные перстеньки со стеклом на фольге? Лиша которую-нибудь из дочерей моих ненужного им перстня, – ибо они без того довольно их имеют, – могу несколько лет сряду украшать всю мою деревню и дом».

Так рассуждал Простаков каждогодно перед поездкою в город; таким же образом рассуждал он и пред князем Чистяковым, осматривая хозяйственные свои заведения, и спрашивал за каждым периодом: «Не так ли, любезный друг?»

Чистяков пожимал с сердечною растроганности!» руку добродушного старика и говорил сквозь слезы:

– Это утешает ваше сердце! Ах! приятно мне и слышать о том; как же приятно, должно быть, вам то делать?

– Это я чувствую, – сказал Простаков, взглянув на небо, звездами усеянное. – Так! душевно уверен, что если б монархи были сердцеведцы, они отняли бы богатство у людей жестоких, во зло употребляющих, и отдали бы бедным добрым людям. Но… – Он вздохнул, и оба продолжали путь, как вдруг Простаков остановился:

– Скажи, пожалуй, друг мой Гаврило Симонович, отчего ты часто улыбаешься, выходя из гостиной в столовую? Или ты там что-нибудь замечаешь?

– Удивляюсь, как вы того не замечаете, – отвечал Чистяков с важностию, которая сделала б его для всякого другого забавным, но не для Простакова. Он, привыкнув видеть его всегда кротким, добросердечным и не способным ни к каким глупым важничаньям, удивился сам удивлению князя.

– Но чему же, любезный друг? – спросил Простаков тихо.

– Тому, любезный и добрый Иван Ефремович, что вы несколько несметливы. Бог дал вам добрейшее сердце, и вы…

– Продолжай, – сказал Простаков с нетерпением.

– Может быть, замечание мое и пустое, как вы и в повествовании видели множество и еще столько же увидите вперед пустейших замечаний, но все же замечание.

– Да в чем состоит оно?

– Когда я бываю в гостиной, где учится Елизавета, то Никандр, преподавая урок о французском языке, объясняет ей по-русски: и не только я, но и всякий русский деревенский ребенок поймет, что дело идет о изучении языка. И когда я слышу, что он говорит иностранным языком, то совершенно уверен, что тут не иное что заключается, как произношение, – просто выговор. Спокойный взор учителя и ученицы всякого убедят в том.

– Бедный князь Гаврило Симонович! И подлинно замечание твое едва ли не есть одно из пустейших замечаний. Далее, любезный князь!

– Послушавши их несколько минут, я выхожу в залу. Тут князь Светлозаров, почти схватя в объятия свои Катерину, а она его, вертятся, прыгают, скачут и опять вертятся. Груди их сталкиваются, губы дышат пламенем, взоры его блестят пожирающими искрами, ее взоры тающим изнеможением. Когда кончится танец, они садятся вместе, объясняют друг другу мысли, и всё языком иностранным. Вы это видите, не понимаете ни слова, а только морщитесь. Могу ли не улыбаться?

На сей раз замечание князя Чистякова было одно из правильных замечаний.

Когда он умолк, Простаков пребыл несколько мгновений в примерном смятении.

– Ах, как безумен я! – вскричал он, крепко потирая лоб. – И я отец! и я стою этого имени? Пусть слабая тщеславная женщина, мать их, и могла забываться, льстя себя глупейшею надеждою; но я, я ничего не хотел примечать, кроме резвости, шалости, и морщился от того, что они мне мешали заняться книгою или разговором. О! до какой степени недогадлив я! Сейчас выгоню этого проклятого повесу, схвачу свою дочь и принужу ее во всем признаться.

Он побежал было, но князь Чистяков остановил его.

– Постойте, любезный друг, – сказал он, – я сделал только замечание, а не говорю, что открыл истину. Хотя опыты довольно меня научили, но нет точки в жизни, где б можно было скорее ошибиться.

– Что ж сделаем мы? – спросил нетерпеливо Простаков, остановясь и глядя пристально на князя.

– Дайте уехать князю Светлозарову, – отвечал Чистяков спокойно. – Он это скоро должен сделать, ибо не более двенадцати дней осталось до праздника, а он нахалом, думаю, не будет. Чтоб хорошенько открыть истину, надобно предварительно знать, как сделать начало к ее открытию. Если вы прямо приступите к Катерине, вам известно, как девушки вообще в таких случаях упрямы и догадливы. Она тотчас увидит, что вы подозреваете только, и сердце ее скрепится; надобно в первый раз дать ей понять, что вы всё знаете, а требуете от нее только покорности и признания.

– Итак, князь…

– Итак, вы искусно выведайте от Елизаветы. Не может быть, чтоб такая постоянная и умная девушка не заметила чего, буде что-либо было; спальня же их одна. Она могла слышать ее вздохи, может быть, видела и слезы, а может, быть, слышала самое признание, да молчит из скромности.

Молча пожал Простаков руку князя Чистякова, обнял его и сказал:

– Ты – истинный друг мой, в этом я не сомневаюсь; но что для меня в тебе кажется удивительным, то, будучи воспитан в деревне, прожив век в бедности, в совершенном незнании большого света, ты можешь так хорошо видеть, меж тем как я…

Он остановился застыдившись.

– Кто вам сказал, – отвечал князь несколько строго, – что я совершенно не знаю этого света? Придет время, вы меня короче узнаете и согласитесь, что можно быть бедну и познать несколько этот тщеславный и развратный свет. Год страданий, даже в быту деревенском, скорее научит познавать движения сердца, нежели двадцать лет покойной, счастливой жизни в кругу семейства и немногих соседей, также покойных, также счастливых. Почтенный любезный ста-

рец! Или думаешь ты, что князья и графы и великие мира сего, близкие к престолу, полные власти и величия, – или думаешь, что они не топчут своих огородов, когда их Феклуши не выходят на заре полоть капусту? Думаешь ты, что они не лазят чрез забор? О! все это бывает, только в другом виде! Я испортил в своем огороде растения; они опустошают целые деревни и заставляют лить слезы и ходить по миру целые тысячи, вместо того что я ходил один. Измятый огород мой поднялся на будущую весну и произвел растения свои ничем не хуже истоптанных. Но кто усладит в сердце слезу горести, падшую из очей семейства осиротевшего? кто воскресит жертву смерти преждевременныя? Ни слезы жены несчастныя, ни вопли младенцев беззащитных!

– Кто ты, человек непонятный? – спросил Простаков, вышед из окаменения от слов своего гостя.

– Князь Гаврило Симонович княж Чистяков. Прости, любезный хозяин; я, говоря с тобою наедине, буду говорить просто, как с другом.

– Всегда, всегда, – вскричал Простаков, протянув к нему обе руки свои.

Князь обнял его и сказал с улыбкою:

– Нет! приличия никогда забывать не должно. Итак, скажу, что твое удивление и мысль, что я не имею никакого понятия о свете, заставили меня с тобою так говорить. Но клянусь, что все, сказанное мною в повести, есть совершеннейшая истина; равным образом уверяю, что истину скажу и вперед, если ты захочешь слушать.

Они еще раз обещали друг другу взаимную неразрывную дружбу; пошли домой, и – какое им удовольствие! – запряженная Князева карета стояла у подъезда.

– Что, князь едет? – спросил Простаков у стоявшего человека.

– Только вас ожидает, чтоб проститься, – был ответ, и они оба побежали в залу: прощались, обнимались, друг друга обмануть стараясь. Князь обещал после праздников побывать у них опять, насладиться приятностию жизни среди такого прелестного семейства.

– Вы, князь, очень, снисходительны, – заикнулась было Маремьяна Харитоновна, немного присевши и застыдившись; но громкий голос мужа перебил речь ее. Он сказал:

– Я буду рад, князь; просим пожаловать.

Расстались. Простаков, по совету князя Гаврилы Симоновича, отложил делать испытания над сердцем Катерины до следующего утра. Между тем объявил всему дому, что завтра едет в город.

Глава XIII
Значущее открытие

В деревне, по обыкновению, вставали очень рано, несмотря даже и на зимнее время, особливо когда по каким-нибудь обстоятельствам день был необычайнее других, что также в деревне очень редко случается. Было самое раннее утро, и все поднялись: дорожная повозка была заложена; стоило только Простакову сесть и ехать. Он бы, конечно, сел и поехал, но замечания, сделанные князем Чистяковым накануне, лежали на сердце его. Да и какой отец не будет таков в подобном случае? Итак, он решился ждать дня, а между тем, взяв за руку Елизавету, которая от него не отходила, вошел в гостиную, где в камине пылал огонь, сел на софу и хотел что-то сказать удивленной девушке; но язык его не мог выразить всего того, что вмещало сердце. Несколько раз отворял он рот, издавал звук и умолкал.

– Что с вами сделалось, любезный батюшка? – спросила больше устрашенная, чем удивленная дочь.

Отец*(потирая руки).* Что, еще князь Гаврило Симонович не встал?

Дочь. Я видела его в зале.

Отец. Попроси его сюда и сама войди!

Дочь ушла. «Право, – сказал Простаков оправляясь, – я не знаю, как и начать. Если скажу очень ясно, – может быть, открою невинной девушке то, чего еще не открыло ее сердце; а молчаньем ничего не сделаешь».

Князь Чистяков вошел с Елизаветою.

– Здравствуй, друг мой, – сказал старик, – ты не знаешь, в каком я замешательстве. Потрудись поговорить с Елизаветою о продолжении вчерашнего нашего разговора!

Бедная невинность ахнула; все ей вдруг представилось: уже не открыли ль тайны ее с Никандром? уж не хочет ли отец отдать ее за князя Чистякова? Она затрепетала.

– Вы – отец, и должны говорить, что внушит вам отеческое сердце, – сказал сухо Чистяков и хотел выйти, но старик удержал его.

– Итак, я буду говорить с тобою без предисловия, – сказал он, взяв с ласкою нежную руку дочери. – Елизавета, отвечай мне искренно, как велит долг твой.

– Готова, батюшка, – сказала она, и руки ее опустились. Все предвещало ужасную бурю для нежного сердца ее. Но на сей раз она ошиблась.

– Ничего более, – сказал старик, – от тебя не требую, как только совершенного чистосердечия. Не заметила ли ты какой перемены в поступках Катерины?

Елизавета. Она любит меня по-прежнему.

Простаков. В этом уверен. Но нет ли перемены в образе ее жизни?

Елизавета. Я никакой не заметила; она встает, занимается разными предметами, играет и опять ложится спать в обыкновенное время.

Простаков. Не о времени дело; но обыкновенным ли образом?

Елизавета. Кажется, что обыкновенным.

Простаков*(с досадою).* От этой девочки толку не добьешься.

Князь Чистяков подошел, взял за руку Елизавету, которая была уже покойнее, видя, что главный разговор клонится к сестре ее, и сказал:

– Вы – добрая дочь, в этом я уверен; он – нежный отец, в этом все уверены. Его родительское сердце непокойно. Показалось ему, что сестрица ваша Катерина неравнодушно смотрела на искательство князя Светлозарова. Если б требования его были честны, он открыл бы их отцу. Несмотря на его в сем случае молчание, он может нравиться. Но отец не может смотреть равнодушно, если нравится ей человек без доброго намерения искренно любить ее. Вы можете решить эту тайну, так или нет?

Елизавета была в большом затруднении. Очень неприятно было ей такое положение, но князь Гаврило Симонович смотрел такими глазами, что надобно было что-нибудь сказать; а что? Она мешалась.

– Говорите, – сказал он повелительно, – отец добрый и нежный ожидает вашего ответа.

– Ах! – сказала Елизавета, – это я знаю и чувствую; но что мне сказать? Я ничего не знаю.

– Ложь! – возразил таким строгим голосом князь Гаврило Симонович, что Елизавета затрепетала, и отец вздрогнул.

– Князь! Вы не пугайте ее…

– Не правда ли, любезный Иван Ефремович, вы назвали меня другом? А когда так, то я хочу доказать, что стою этого имени; хочу быть другом вашим во всяком случае, когда идет дело до вашего покоя, выгод, счастия. Итак, сударыня, отговорки ваши напрасны. Отец и друг его хотят знать истину. Лицо ваше, каждый взор показывают, что она вам известна; а только упрямство…

– Ах нет! – сказала Елизавета сквозь слезы.

– Ну, так ложная нежность! Она простительна; но не забудь, не посторонний выведывает тайны сердца сестры твоей! Это отец, я друг его.

Елизавета, потупив взоры и перебирая пальцы, сказала:

– Правда, я заметила кое-что необыкновенное…

– Вот то-то же, – вскричал с торжеством Иван Ефремович, вскочив с кресел и запахивая тулуп свой. – Ну, скажи же скорее, дочь моя, что ты заметила?

– Катерина с некоторого времени сама на себя не походит. Целые ночи просиживает со свечкою и ничего не делает. В эту ночь она вздыхала, плакала, и сквозь занавесы моей кровати приметила я или мне так показалось, что она читала какую-то бумагу, как будто бы письмо.

– Так! – вскричал отец с движением гнева.

– Нет, не так! – возразил князь; – ни на одну минуту не забывайте, что вы – отец. Правда, вы вместе и судия, но не такой, который по первой вероятности осуждает, не выслушав оправдания обвиняемого! Не забудьте также и того, что вы собираетесь произнести отеческий приговор не над сыном, а дочерью! О друг мой! Кто постигнет этот ужасный лабиринт нежности и жестокости, любви и обмана, привязанности и отвращения? кто постигнет сердце женщины?

– Катерина моя так еще невинна, а между тем получает письма от любовника, без ведома отца. Разве это не то же самое, что выйти на утренней заре полоть капусту?

– Не к тому говорю я, чтобы самому произнести приговор, – продолжал князь. – О! сохрани меня от того бог! Но дело в том, не осуждайте строго своей дочери, но и не смотрите сквозь пальцы; не говорите другим, а особливо себе: она невинна! Быть может, сердце ее и подлинно невинно, но иногда женщина в любви и сердце не требует на совет. Одна суетность, божусь, иногда одна пагубная суетность заменяет все. На этом, любезный и почтенный друг, оснуйте свое поведение; будьте отцом, каким ему быть должно, и довольно; в сем одном имени заключаются все обязанности. Теперь пойдите к дочери.

Простаков худо слушал, – так поражены были все чувствия его словами гостя. Однако он побрел в спальню дочери; Елизавета оставалась.

– Но скажите, ради бога, князь, – сказала она несколько возвышенным голосом, – вы советуете батюшке не быть строгим судьею, а между тем сами внушаете в него недоверчивость к невинности дочери его! Как согласить это?

– Что есть невинность? – спросил князь еще возвышеннее.

Елизавета потупила опять взоры свои.

– Юная дочь друга моего! – продолжал он, взяв с чувствительностию за руку Елизавету. – Кто так долго, как я, был игралищем прихотей разных людей; кто так много был обманут; кто столько лишался покоя, – о! тот должен быть несчастным из всех сынов земли, если взоры его не будут дальновиднее, чем прежде, когда, бывало, он, поймав весною бабочку или сорвав

репейник на голову невесты, почитал себя благополучным! Однако, юный друг мой, не подумай, чтобы я был человеконенавистником, а особливо женщин. Нет; я теперь, когда волосы мои начинают белеть, я все еще люблю этот милый цвет в природе; но также люблю отличать репейник от розы. Елизавета! Давно я понял биение сердца твоего; я любуюсь, смотря в глаза твои. Я вчера открыл тайну сестры твоей беспечному отцу. Но, Елизавета! каждый день замечаю я пламень очей твоих, колебания твоей груди, появляющиеся и мгновенно исчезающие розы на щеках твоих, и молчу. Вижу насквозь сердце твое, вижу его невинность и молча любуюсь. Ты всегда пребудешь невинна, Елизавета, и бог наградит тебя!

Он утер глаза платком и вышел. Рыдающая невинность закрывала лицо свое руками.

Она еще была в сем положении, как отец ее вошел, ведя за руку князя Чистякова.

– Елизавета, выйди вон! – сказал он.

Оставшись одни, долго хранили молчание, наконец князь Чистяков прервал его, спросив: «Что?»

– Твоя правда, – отвечал Простаков, как будто пробуждаясь, – ты очень хорошо, друг мой, знаешь сердца женщин! Она во всем призналась, рассказала, как объяснялся князь, как умолял ее о соответствии и как она, сжалясь на его мучения, дозволила ему требовать от меня руки ее.

– Я и не знал, что можно из жалости отдать руку свою, – сказал князь.

– Не будь очень взыскателен, друг мой! вот и письмо от князя.

– Ну, не я ли сказал?

– При самом начале я отдал тебе справедливость. До сих пор не читал этого проклятого начертания. Потрудись, пожалуй! я при огне ничего не вижу, а очки в спальне.

– Почему ж проклятое начертание? – сказал князь. – Если и подлинно существо этого князя способно любить; если он, наконец, почувствовал то, чего до сих пор ни к одной женщине не чувствовал, хотя любил целые тысячи, то есть ежели узнал на опыте нежность, то кроткое и отнюдь не бурное влечение сердца, которое говорит человеку: «Ты мог прежде любить многих и был несчастлив, но с нею только счастлив будешь», – в таком случае это будет благословенное начертание. Посмотрим!

«*Любезнейшая девица!*

Тысячекратно благодарю вас за сообщенный мне лоскуток бумаги, в котором позволяете просить руки своей у почтеннейшего родителя! Итак, мой милый юный друг, итак, нежное сердце твое моему ответствует? О! как счастлив я в сию минуту! Надеюсь, что батюшка мне не откажет в руке твоей, когда ты отдала мне сердце. Он немного скуповат, оттого-то старшая сестра твоя до сих пор сидит в девках. Но у меня есть поместье, есть деньги, драгоценные камни; я от него ничего не потребую, кроме руки обожаемой дочери его. На несколько недель еду я в свои деревни. Устроивши хозяйство, я письменно буду просить у твоего батюшки позволения приехать в виде жениха. Благополучие мое будет совершенно, когда я получу удовлетворительный ответ.

Князь Светлозаров».

– Ну, что ты об этом думаешь? – спросил Простаков, подумав хорошенько. На лице его видно было удовольствие, которое он скрыть старался.

– Я думаю, что это письмо сочинено не хуже других, в таком случае сочиняемых.

– К чему такое замечание? – возразил Простаков с некоторою досадою.

– Я хочу знать ваши мысли, – отвечал холодно князь Гаврило Симонович.

– Я полагаю, – сказал Простаков, еще хорошенько подумав, – что если намерения его таковы, как он объясняет; если дочь моя уверит меня, что будет с ним счастлива; если он пись-

менно станет просить меня о согласии, то я тут ничего худого не нахожу и думаю заранее, что дам им свое благословение.

– Посмотрим, – сказал князь равнодушно. – Дай бог! все к лучшему, может быть; однако посмотрим.

– Без сомнения, посмотрим, – был ответ Простакова, уходящего в залу.

Около обеда того же дня уехал он в город.

Глава XIV
Великое открытие

По отъезде господина Простакова в город в деревне настала тишина глубокая. Маремьяна занялась кухнею и штопаньем старого белья. Катерина ходила повеся голову и ничего не делала. Изредка посматриваясь в зеркало, она заметила, что несколько похудела. Елизавета занималась по-прежнему своими уроками с Никандром; а князь Гаврило Симонович обыкновенно сидел в садовой своей избушке, читал «Минеи-Четьи» и выходил в день только два раза в дом, обедать и ужинать; а все вместе радовались, что, покудова Простаков в отсутствии, буря в сердце Катерины утишится. Они могли бы то же думать и о Елизавете, но кто ж знал о разговоре ее с князем Чистяковым, а ни он, ни она не имели охоты никому открывать о том; глаза же не у всех так проницательны, как у князя Гаврилы Симоновича.

День проходил за днем. Маремьяна неотступно просила князя продолжать повествование своей жизни; но он без Простакова не хотел того и отказал начисто. Что было делать? утомительное единообразие мучило всех, кроме Елизаветы и Никандра. Они в каждое мгновение, в каждом занятии находили один в другом тысячи разнообразных прелестей и были довольны и счастливы.

Каждый день твердила Маремьяна: «Боже мой! все белье перештопано, перечинено, а его нет». Она также каждый день прибавляла: «Он, верно, хоть поздо, а сегодни будет»; сидела до полуночи со свечкою; его не было, загашала огонь, вздыхала и ложилась. Какое чудное дело – привычка мужа к жене и жены к мужу, хотя бы они никогда не любили один другого тою порывистою пламенною любовию, которую так прекрасно изображают в книгах иногда те, которые ее никогда не чувствовали! Почему же и не так? Не часто ли стихотворец, сидя в зимнюю ночь у оледенелого окна за испачканным столиком, весь дрожа от стужи и поминутно подувая на пальцы окостеневшие, – не часто ли, говорю, описывает на лежащем пред ним листе бумаги прелесть утра весеннего! У него пастух с пастушкою гуляют по цветочному лугу, наслаждаются красотою безоблачного неба, цветы благоухают, деревья украшаются молодыми листочками, ручьи пенятся, журчат и привлекают милую чету к отдохновению! «О! как это прелестно! – говорит стихотворец, щелкая от озноба зубами, – о! как восхитительна картина эта!», меж тем как сам смотрит на густой пар, вьющийся у рта его.

Когда бывает с такими великими людьми, каковы стихотворцы, сыны Зевесовы, пророки на земли, что они совсем другое говорят, нежели чувствуют, а единственно по привычке, – то почему же Маремьяне не любить мужа своего также по привычке, живучи с ним около двадцати пяти лет в брачном союзе? Бывая вместе, она почти никогда и ни в чем с ним не соглашалась, и один повелительный взор мужа, при всей кротости нрава его, умел сохранить сие преимущество, мог остановить язык ее. Но когда его не было дома, а особливо на несколько дней, она непритворно скучала, досадовала и совершенно забывала, что он – капитан, а отец ее был знатный человек, у которого бывали балы, феатры и маскерады. Дочери ждали его как доброго отца, не более. Катерина боялась, чтобы он не возобновил своих нравоучений в рассуждении князя; а Елизавета и без того была счастлива. Один князь Гаврило Симонович ожидал прибытия хозяина с непритворным нетерпением; ибо он любил его не по привычке, как жена; не по долгу, как дети; но как друг, единственно любя в нем доброе, чувствительное сердце, еще цветущее и в хладную зиму преклонных дней старческих. На голове его белелся снег, но в душе, в сердце цвели розы весны прелестныя. В таком расположении семейство застал сочельник.

День был самый дурной, какому только можно быть в конце декабря. Ветер дул с разных сторон, снежная пыль клубилась, поднималась, спускалась, – словом, была страшная вьюга или метель. Г-жа Простакова уверяла, что только бабушка ее, бывшая семнадцати лет во время похода Петра Великого, видела подобную и что если бог нашлет третию такую же метель на

землю русскую, то чуть ли не быть падению мира. В целом доме все было пасмурно, дико и пусто; все молчали; один неохотно спрашивал, другой еще неохотнее отвечал. Князь Чистяков, пришедший к обеду, ежился; г-жа Простакова твердила: «Боже мой! если такая метель застанет его в дороге!» Все умолкало и было по-прежнему пасмурно; одна Елизавета с Никандром, одушевляемые божеством, наполняющим сердца их, согреваемые жаром любви, которою они дышали, сидели спокойно в своей учебной. Не только буря, или метель, или вьюга не могли прервать их занятия, но уверительно скажу, что таковое явление природы придавало мыслям их ту неописанную прелесть наслаждения, то неизъяснимое блаженство, которое любит питаться необычайным, так как пламень его единствен к предмету единственному в мире.

– Куда, право, какое чудное дело – заморские науки! – сказала Маремьяна Харитоновна, зевая и смотря на зевающую дочь свою Катерину, на зевающего князя Чистякова.

– Покойный батюшка мой никогда не хотел занять нас этим, несмотря, что у него в доме был свой феатр.

А погляди на Елизавету! Она как будто в веселый летний день рвет цветы в саду, несмотря, что снег бьет в окна. О, заморские науки!.. Катерина! Хотела бы я, чтоб ты прилежнее их училась. Любо, право, смотреть, как Елизавета учится. – Она, чтоб не помешать упражняющимся, на цыпочках подошла к дверям и стала. Катерина и князь Гаврило Симонович сидели молча около печки.

Молодые влюбленные читали какую-то книгу и были растроганы. На сей раз проходили они урок не о заморских пауках, ибо г-жа Простакова кое-что понимала, и они говорили русским языком.

Никандр читал: «О! ты, всевечный, благий, живительный огнь, разлитый во веем круге творения, о любовь! Душа моя благословляет тебя, расстилаясь пред троном горнего милосердия с благодарностию за водворение тебя в сердце моем!»

Он остановился и положил книгу; смотрел с чувством неизъяснимой нежности на роскошную прелесть, в коей плавали взоры Елизаветы, на то волнение груди ее, которое давало знать счастливому: «В этом уверена, ибо сама чувствую».

– Понимаешь ли, Елизавета, – спросил он, – всю силу слов сих?

– Я чувствую ее, – отвечала она, взглянув на него; алая заря осветила щеки ее, и взоры заблистали. Никандр преклонил голову к груди своей, вздохнул, поднял книгу, опять положил, и казалось, чувствовал сладкое мучение, его пожирающее, но ни за все сокровище света он не хотел бы от него исцелиться.

«Они как будто на феатре», – думала про себя Маремьяна Харитоновна, совсем не понимая такого разговора.

Елизавета прервала молчание:

– Отчего ты так пасмурен? Или для тебя не довольно разделять то священное чувство, которое наполняет души наши и с каждым мгновением оживляет существо? Или неблагополучны мы в настоящем? Будем довольны сим, пока милосердный бог сделает нас в будущем еще благополучнее!

«Гляди, пожалуй! – сказала про себя мать, – она точно так говорит, как та сумасбродная актриса, которая помогла батюшке разориться. Ну, право, она точная актриса!»

Никандр отвечал:

– Прелестная девица! Так, любить тебя святейшею любовию и видеть соответствие есть благо, которого не променяю я ни на все блага мира сего! Но ты не властна располагать своею рукою; ты имеешь родителей. Как ни кроток, как ни добр отец твой, но все он – богатый дворянин, а я – беднейшее творение, во всей земле русской не находящее себе ни отца, ни матери!

Елизавета. Ты их найдешь в нашем семействе; как скоро приедет батюшка, я все открою ему, буду просить, умолять, заклинать. Он нежный отец и сжалится на слезы своей дочери.

Никандр. А если нет?

Елизавета. Не пугай меня таким жестоким предсказанием! Но если бы и в самом деле истребил он всю жалость ко мне, смотрел равнодушно на горькие мучения, – что же? Он может только не соединять меня с тем, кому предана душа моя; но соединить с другим бессильны все силы земные. Законы равно простираются на бедных и богатых, низких и знатных, детей и родителей.

Никандр. А между тем как изгнанный Никандр будет влачить в пустыне скорбную жизнь свою, дом Простаковых посетит какой-нибудь молодой прекрасный дворянин.

Елизавета. Хотя бы сам воплощенный ангел!

Никандр. О! бесценный друг мой! ты еще не знаешь, что значит время, настояние родителей, просьбы юного красавца.

– Ничто в свете не разлучит сердец наших, – вскричала торжественно Елизавета, протянув к нему руки свои; и Никандр с быстротою ветра вскочил со стула и прогрузился в ее объятия.

Маремьяна, протирая глаза, сказала задыхающимся голосом: «Нет! на феатре не так!»

Ужасный вопль ее раздался по всему дому.

Князь Гаврило Симонович и Катерина подскочили с ужасом; со всех сторон бежали: из девичьей, из людской, из кухни, и все слышали, как Маремьяна, стоя на пороге и хлопая по бедрам обеими руками, ужасно кричала: «Бездельник, мошенник, вор, душегубец, чудовище, изверг, дьявол, сатанаил!» Но никто из людей не знал причины такого гнева, и все глядели друг на друга разиня рты. Один Гаврило Симонович и Катерина с нежным соучастием смотрели на преступников, стоявших в некотором бесчувствии. Кто опишет удивление князя Гаврилы, когда увидел он, что Елизавета, вместо того чтобы бежать с ужасом в свою спальню, упасть в обморок на постель и отдаться в волю истерических припадков, – Елизавета с кротким величием берет за руку пораженного Никандра, подводит к матери, и оба становятся на колени?

– Матушка! – сказала она, подняв к ней взор, – я дарю вам сына в этом молодом человеке.

– Ах! – завопила опять Маремьяна, протянув на них с сильным гневом обе руки, – ах! бездельница, бесстыдница! Тому ли я тебя учила? – Она бросилась к ним, но грех ее попутал: большим карманом своим зацепилась она за ключ в дверном замке, рванулась, как сноп повалилась на стоявших на коленях, и все покатились.

– Помогите, помогите! – кричала Маремьяна, вставая с полу, – эти разбойники уморят меня; – и с сим словом, подбежав к Елизавете, дала ей две преисправные пощечины, а потом и Никандру достался такой же подарок, только с указными процентами. Елизавета близка была к лишению чувств; ее подхватили и повели положить в постель. Никандр стоял как оглашенный. Он уставил глаза на Маремьяну и был неподвижен.

– Что ты смотришь на меня, душегубец? – сказала она, поправляя измятый чепчик. – Вон в сию минуту, вон из дому, и если ты покажешься когда-либо вблизи нашего дому, то на нас не пеняй. Вон, вон!

– О бедность! – сказал Никандр, выходя косными шагами из комнаты и ломая руки. – О провидение! зачем ты бедным людям даешь сердца? зачем осужденных судьбою на бедствия ты делаешь еще несчастнее?

Так восклицая, бедный молодой человек брел в садовую избушку. Там князь Гаврило Симонович укладывал его чемоданик, или, вернее сказать, кожаную сумку, и крупные слезы его одна за другою падали на белье.

– О бедность! о провидение! – вскричал еще Никандр и бросился в постель ничком. Когда первая буря сердечная прошла, он встал, подошел к князю и спросил его тихим голосом:

– Что вы это делаете?

Князь. Укладываю твой чемодан. Видишь, тебе объявили поход.

Никандр. Мне ничего не надобно. Я пойду так, как стою; зачем умирать с ношею на плечах?

Князь. Это – правда. Но зачем же умирать?

Никандр. Как? Вы думаете, я буду жить после всего того, что случилось?

Князь. Конечно, думаю; оттого-то и чемодан укладываю.

Никандр. Вы худо знаете сердце человеческое.

Князь Гаврило Симонович взглянул на него сначала довольно строго; потом, взяв за руку с отеческой нежностию, сказал:

– Молодой человек! Ты видишь на голове моей седины и говоришь так! Почему думается тебе, что я не претерпел многих таких бурь, какую ты теперь терпишь. О юный друг мой! Ты учись узнавать сердца людские, а с меня будет. Предел мой недалек. Итак, послушай старца; он будет говорить тебе, как отец.

Терпение есть величайшая из добродетелей. Вмести в сердце твоем все и огради его терпением. Не думай, что одни бедные имеют в нем нужду! Нет! Без него нередко стенают на пышных ложах и блестящих тронах. Оно возвысит тебя в собственных глазах твоих; а это всего лучше. Пусть поносят тебя люди, чернят клеветою память твою; ты взглянешь на небо, отнесешь душу свою к источнику добродетелей и скажешь: «Отец небесный! я невинен!»

Тебе ведено выйти – и выйди! Велено сегодня, в такую страшную бурю, что и собаки не показываются из нор, что ж делать! Тебе ведено, – а велеть имеют они право; исполни хотение их и выйди; чемодан твой готов.

Князь Гаврило Симонович вытащил из кармана маленький кошелек и, отдав его молодому другу, сказал:

– Вот тебе пятьдесят червонных. Ты удивляешься? хочешь спросить, где я мог взять деньги? О! это до тебя не касается. Они стоят мне многих горестных часов! И я плакал, сын мой, и я страдал в свое время, но недолго; я принимал бальзам терпения и успокоивался. Уверен, что ты известишь меня о месте своего пребывания, а особливо, если будешь в чем иметь нужду. Сколько в силах, помогу, и две трети уступлю тебе. Прости, сын мой; бог да благословит тебя!

Никандр пал на колени; князь Гаврило Симонович положил на голову его руки, возвел глаза к небу и сказал со слезами:

– Милосердый отец всего творения! Благоволи послать юноше сему в настоящей жизни еще часы радостные, если он будет добр и не уклонится от путей твоих!

Потом подал он на плеча ему чемодан, привязал и, взявши за руку, вывел.

«Прости, сын мой!» – «Прости, благодетель мой!» – были единственные слова юноши и старца. Издали слышны были всхлипывания Никандровы.

Глава XV
Уныние

После такого неприятного дня следовал вечер еще неприятнее. Буря и вьюга не утишились; ветер выл по саду и звенел в щели на оконных ставнях. Елизавета бредила, лежа в постели; Катерина плакала и вздыхала, сидя на краю кровати; г-жа Маремьяна Харитоновна, которой первый порыв гнева прошел, бегала из комнаты в комнату, звала на помощь всех домашних; все приходили, но помочь никто не умел.

Я не знаю, как соединить в одном сердце напыщенность и добросердечие; однако ж две сии оттенки нрава были соединены в г-же Простаковой. Изгнать Никандра из дому в такую негодную погоду было дело гордости и спеси. Жалеть о том спустя два часа было свойственно жалости и добросердечию. Более всего тревожила ее мысль, что и как скажет о том своему мужу. Он был беспримерно кроток, но с первого дня брака захотел быть старшим в доме и был до сих пор. Двадцать раз при каждом свисте ветра в окна она подбегала, смотрела и отдала бы дюжину лучших уборов своих, только бы Никандр возвратился. Она смотрела, выглядывала, прислушивалась, но видела один снег, слышала один свист ветра. Так застала ночь семейство в деревне. Елизавета на несколько времени забылась или, как говорила мать, заснула.

Пробило девять часов. «Ах, как поздо! – вздохнув, сказали мать и дочь, поглядев одна на другую. – Как поздо, а его еще нет!»

Я за несколько приличное почитаю теперь сделать небольшое рассуждение о словах: ах! как рано и ах! как поздо, – а все в одно и то же время.

Когда несчастный преступник, сидя в темнице, ожидает звуку девяти часов, когда позовут его в тайные храмины, где лежат цепи, клещи, топоры и все орудия к пытке, то, слыша звук колокола, вздрогивает и говорит, скрежеща зубами: «ах! как рано!»

Когда влюбленный молодой человек, получив в первый раз благосклонную, нежную улыбку от своей красавицы, которая назначает ему милое свидание под тению ветвистого дуба, как скоро появится заря вечерняя и звезды усеют небо, – он ждет, боясь дышать, боясь сделать малейший шум; слышит, бьет девять часов, и говорит со вздохом: «ах! как поздо; а ее нет!»

Я мог бы привести не одну тысячу примеров, из коих увидел бы читатель, что в одно и то же время для одних бывает рано, для других поздо, но важнейшие происшествия отвлекают меня; именно: как скоро мать и дочь Простаковы произнесли: «ах, как поздо», – удар бича раздался на дворе; был слышен топот усталых коней и шум челядинцев.

– Приехал, приехал! – раздавалось со всех сторон. Маремьяна и Катерина смотрели на дверь залы, не смея дохнуть, как после нескольких минут Иван Ефремович ввалился в залу в дорожном своем облачении. После всех приветствий, ласк, вопросов и ответов Простаков сказал: «Я был бы домой к обеду, если бы не такая несносная погода. Ветер выбивает глаза у лошадей; с непривычки они бесятся; беспрестанно сворачивают, рвут упряжь, и только и дела, что чини».

Меж тем как люди вносили и раскупоривали большие короба с покупками, Простаков спросил: «Что ж я не вижу прочих? Где они?»

– Я думаю, – отвечала Маремьяна в смущении, – что уже спят.

– Спят? – сказал муж недоверчиво, – удивительно, что и князь Гаврило Симонович, и мой Никандр, и нежная, добрая моя Елизавета спят, когда жена моя и Катерина ожидали отца и друга! Авдотья! разбуди барышню и вели быть здесь. Иван! поди разбуди Гаврилу Симоновича и Никандра; скажи, что я приехал. – Они удалились, а Простаков начал показывать свои подарки. – Это тебе, друг мой, – сказал он жене, – вот тафта, вот атлас, вот кисея и все подобные вздоры. А это для дочерей, такого же разбору. В этой коробке сукно, каземир, хороший холст и прочее для князя и его товарища. А в той коробке для одного последнего несколько хороших

книг русских и французских; коллекция эстампов известного художника, ящик с красками и еще кое-что. Что ж я никого не вижу?

Авдотья вошла, и один вид ее объяснял наперед ответ. Сколько Маремьяна на нее ни глядела, сколько ни мигала, сколько ни кривлялась, – что могла понимать бедная девушка, когда все знала по догадкам?

– Скоро ли выйдет Елизавета? – спросил Простаков.

– Она совсем не выйдет, – отвечала Авдотья. – У нее жар в голове, озноб во всем теле и бог знает что.

– Что это значит? – спросил удивленный старик с соучастием отца.

– Это пройдет, – сказала Маремьяна с некоторым притворным спокойствием, – ей скоро после обеда стало немного дурно, заболела голова: конечно, небольшая простуда, но она скоро пройдет; ей теперь гораздо лучше дать успокоиться.

– Пусть так, – был ответ Простакова, – но где же… – В ту минуту вошел Иван. – Что?

– Князь Гаврило Симонович не будет!

– Конечно, они все решились сделать праздник мой хуже будней, – сказал с сердцем Простаков. – Почему же не будет его сиятельство, когда я от души просил пожаловать? Что делать изволит он?

Слуга отвечал: «Он сидит в углу комнаты своей, пред ним стоит свеча и лежит Библия; он, кажется, ее не читает, а смотрит в потолок и горько плачет».

Страшный мороз, сто раз холоднее, чем вьюга на дворе, проник грудь Простакова. «Плачет? – сказал он диким голосом, от которого Маремьяна и дочь ее задрожали. – Он плачет под кровлею дома моего, – плачет человек добродетельный, которому я дал убежище! О! я молю бога, чтобы не мое семейство было виною слез его. Иначе я сам испрошу громы на головы нечувствительных, которые извлекают слезы из очей несчастного, но доброго человека».

– Почему знать, друг мой? – сказала Маремьяна, – у всякого свои причины!

– Без сомнения, – отвечал муж, – и я даже не хочу проникать в тайны сердца, пока оно само не откроется добровольно. Но Никандр?

Все были в глубоком молчании.

– Верно, я сбился с пути и заехал в дом сумасшедших, – сказал Простаков с досадою. – Где и что Никандр? – спросил он у человека. Тот стоял как столб и не отвечал ни слова.

Простаков взглянул на жену испытующим взором; она взяла его с трепетом за руку, отвела в гостиную и сказала: «Друг мой! Никандра нет уже в доме!»

– Где же? – спросил муж таким голосом, что жена, желая поправить галстук на его шее, оторвала целый конец батисту: так худо могла она владеть своими руками. Но надобно было все объяснить так, как было. Маремьяна утопала в слезах, рассказывая мужу о дневной сцене, о чтении, признании, объятиях, пощечинах и изгнании из дому. «Я думаю, что и ты то же бы сделал, милый друг мой», – сказала она под конец, ласкаясь к своему мужу.

Простаков долго стоял в самом пасмурном унынии; смотрел то на жену, то на снег, все еще лепившийся у окон целыми грудами; потом сел и спросил ее с рассеяпностию:

– Что бишь ты мне сказала?

Маремьяна довольно ободрилась, подошла к нему с видом человека, которого поступки прежде по неведению клеветали, но он оправдался и получил всю прежнюю доверенность. Она сказала:

– Я думаю, что ты сам отдашь справедливость моему поступку и сам не захочешь видеть в доме своем соблазн, а, упаси господи, по времени и разврат; ты также велел бы выйти Никандру, этому неблагодарному, этому…

– Быть может, – возразил муж громче обыкновенного, дабы остановить пылкое красноречие жены своей, – быть может, и я то же бы сделал, и именно то же; но, клянусь великим сердцеведцем, совсем не так безумно, как ты! Правда, у меня никогда не было и в уме, чтобы в

Никандре дать жениха своей дочери, да и сам князь Гаврило Симонович говорит, что приличия никогда забывать не должно: иди всякий своей дорогой, не скачи дерзко вперед, но не оставайся по одному малодушию и назади. В чем состоит все дело? Никандр полюбил дочь нашу: самое простое действие природы и самое обыкновеннейшее; он молод, пылок, она хороша и достаточна; а для человека бедного это также пособляет в любви. Елизавета ему тем же отвечала, – еще обыкновеннее; он учен, нежен, чувствителен, и чего ей больше? Она подумала о нашей благосклонности и со всем доверием, как говорила ты, протянула к нему обе руки.

– Как, мой друг? – спросила Маремьяна с недоумением и досадою. – Ты стал бы равнодушно смотреть, как эта беспутная девчонка и молодой нахал машут руками и вешаются друг другу на шею, как было у батюшки на феатре.

– Ты совсем не отгадала, жена, – сказал Простаков, также в свою очередь с досадою. – Я давно говорю тебе, что я то же бы сделал, но только не так. Заметя непристойность, – ибо и совесть моя называет это, если не больше, то верно непристойностию, – я отвел бы Никандра в садовую его избушку и сказал: «Молодой человек, ты любишь мою дочь Елизавету, но женою твоею она не будет. Итак, если ты честен, оставь нас. Во всех нуждах, какие тебе встретятся, относись ко мне, я по силам буду помогать тебе, ибо я тебя полюбил, и буду любить, пока не оставишь ты стезей добросердечия и чувствительности. Так, молодой человек! Ты не имеешь родителей; я тебе заменю отца, но Елизаветы за тебя не выдам, ибо приличия никогда забывать не должно», – говорил князь Гаврило Симонович; а что он говорил правду, за то ручается моя совесть.

Конечно, я не дозволил бы видеться ему с Елизаветою, но и не гнал бы из дому, пока не сыскал приличного ему места по службе. Видишь, жена, следствия были бы те же, и молодой человек оставил бы дом наш, осыпая благословениями, вместо того что теперь, окруженный бурею, свистящею среди лесного мрака или поля бугристого, нося на плечах снег, на лице иней, он борется с холодом, зверями пустынными и, скрежеща зубами, произносит на главы наши достойное проклятие.

Маремьяна заплакала, муж ее задыхался от слез, гнева, досады и чувствительности.

– О Маремьяна! – вскричал он. – О бесчеловечная, жестокая женщина! кто внушает в сердце твое лютость? Неужели ты, казня меня так много, не чувствуешь ужасного угрызения совести?

Она стояла молча. Вдруг отворяется дверь залы, и князь Гаврило Симонович вошел подобно привидению ночи. Кровавы были от пролитых слез глаза его, щеки бледны, колена тряслись, он подошел медленно, и Простаков с воплем пал в его объятия. «Все знаю, – кричал он, – мне все известно, достойный друг мой. О! если б я мог когда-либо загладить ее жестокость!»

– Есть провидение и никогда не дремлет, – сказал князь Гаврило Симонович, указав на небо.

– Верю, верю и на него только надеюсь!

Когда несколько все пришли в себя, Простаков спросил жену холодно: «Что ты дала ему на дорогу?» Жена взглянула на него и онемела. «Чем ты снарядила его?» – сказал он важно, вставая с кресел и не двигаясь с места. Жена потупила голову и продолжала молчать «О! понимаю; к горькому несчастию моему, очень понимаю!» – вскричал Простаков, сложив у лба обе руки свои и закрыв лицо.

– Не беспокойтесь, – сказал князь Чистяков, – я довольно снарядил его, и покудова он ни в чем не будет иметь нужды.

– Ты? Но ты сам что имеешь?

– Сколько имел, и тем поделился и, награди его родительским благословением, отпустил.

– Вечный мздовоздаятель да наградит и благословит тебя, – вскричал Простаков, вторично его обнимая.

Глава XVI
Жид Янька

Боже мой! что делает время!

На двадцать первом году жизни моей допустил ли бы я кому-нибудь, самому даже несговорчивому профессору, уверить меня, что в двадцать восемь можно, хотя и не совсем, забыть то, что прежде было предметом самой стремительной страсти; по крайней мере не более помнить, как одно имя предмета оной, и то вспоминая минут пять, не более. Куда ж девались прежние чувствования? Исчезли ль они во мне вовсе? Охладела ль кровь в жилах моих? Нет; все едва ли не более усилилось. Куда ж прежнее девалось? И сам не знаю, а чувствую, что его нет более, и уверен, что, увидя предмет, при воспоминании о котором прежде душа моя пылала сладостным огнем, и все бытие перерождалось, – теперь, говорю я, не иначе взгляну на предмет тот, как на листы бумаги, на которых красным карандашом пачкал я харицы в первые месяцы ученичества; или спустя несколько лет, еще обиднее, пачкал бумагу, сочиняя какое-нибудь четырехстишие. Не правда ли, что и для великих поэтов и художников утешно видеть младенческие труды свои? Но они смотрят на них с тою улыбкою, которая означает ясно: какая разность с теперешними нашими творениями!

О друзья мои! Если вы плачете под игом бед жестоких, – утешьтесь! Пройдет несколько времени, и вы увидите розы, расцветшие на вашем шиповнике. Если мучитесь вы пожирающею страстию любви и видите, что предмет ее слишком отдаляется от сочувствия, – о! утешьтесь и будьте покойны! Представьте, что спустя несколько лет, ну пусть и несколько десятков лет, – красота ваших обладательниц, их прелести, нежность их взоров, их улыбок, – все, все пройдет, и невозвратно, и на место теперешних богинь предстанут – увы! – грозные парки, которые если и не будут резать нити дней ваших мгновенно, то по крайней мере умерщвлять вас медлительно ворчаньем, бренчаньем, подозрением, злостию, словом: всеми адскими муками.

Все предоставьте времени, друзья мои, и утешьтесь так, как нередко утешаюсь я, предоставляя все врачу сему безмездному.

Так или иначе рассуждали все в фамилии Простаковых, только наконец все и вправду несколько успокоились, – разумеется, один больше, другой меньше. Простаков был довольно весел и занимался своими делами по-прежнему, то есть день проводил, осматривая хозяйство с князем Гаврилою Симоновичем, а вечер – в разговорах все вместе.

С Елизаветою давно он помирился, только не мог надивиться случаю, что сам привез в дом пансионного любовника своей дочери.

Он спокойно, так, как и Катерина, ожидал вызова от князя Светлозарова. Князь Чистяков рассуждал, шутил, и все так нравилось целому семейству, что Маремьяна Харитоновна награждала его веселым взглядом, муж – дружеским пожатием руки, Катерина – приметным желанием слушать его более и более, а нежная Елизавета – кроткою улыбкою.

Может быть, некоторые напомнят мне, что я не сказал, откуда бедный, почти нищий князь Гаврило Симонович мог дать пятьдесят червонных своему любимцу?

Я нимало не забыл о сем и скажу, когда мне покажется кстати, только предуведомлю, что нескоро.

– Ну, любезный друг, – сказал однажды Простаков, взглянув весело на своего гостя, – ты давно ничего не говоришь нам, что случилось с тобою после похорон достойного тестя твоего князя Сидора Архиповича Буркалова? Мы все собрались теперь вместе.

– С сердечным удовольствием, – отвечал Гаврило и, помолчав, начал. – Я остановился на вступлении моем в ворота дома, в сопровождении двух честных пастухов, которым замышлял за труды отдарить, давши по куску хлеба.

Вошед в покой, где стоял прежде гроб покойника, я от приятного недоумения выпучил глаза и разинул рот. Посередине стоял стол, накрытый скатертью и уставленный пятью или шестью блюдами, несколькими бутылками вина и большим графином водки. Гости мои были в подобном положении, меж тем как княгиня Фекла Сидоровна, которая уже пооправилась и, с дозволения Марьи, могла присутствовать при наших поминках, сидела в углу с младенцем на руках.

– Что это значит? – спросил я, как скоро почувствовал употребление языка. Я покушался было опять думать, что и подлинно жена моя имела большое сокровище, но от меня таила, чтобы я, будучи от природы щедр, что доказал ей перетаскиваньем всего платья моей матери и после пожертвованием единственного движимого имения – коровы, за выкуп оного, не указал и ему той же дороги. Но похороны отца ее удерживали меня так думать.

Вместо ответа жена взяла меня за руку, вывела в сени, провела двором, подвела к хлеву, и – о чудо из чудес! – моя корова стояла там над большою копною сена.

– Княгиня! – спросил я заикаясь, – уж не колдовство ли это или самый злой сон? – Я сильно протирал глаза, желая подлинно удостовериться.

– Нет, любезный князь, – отвечала Феклуша с улыбкою, – это ни колдовство, ни сон. Садись обедать с гостьми, а после я сделаю тебе объяснение. – Таким образом, принялись мы насыщаться даром, столь чудесно ниспосланным. Пастухи, которые ничего не знали о происхождении великолепного гроба, ни такого богатого обеда, почли, что я и подлинно богат, да скрываю свое богатство. Они ели, как голодные волки, не останавливаясь ни на минуту, и во весь обед только и были слышны сии слова: «Это вино, право, прекрасно, ваше сиятельство князь Гаврило Симонович! Это блюдо имеет особенный вкус, ваше сиятельство княгиня Фекла Сидоровна». Мы молча с женою друг на друга взглядывали: она улыбалася, я принимался есть, опять не понимая, откуда жена взяла столько денег, чтоб выкупить корову и поднять такой банкет.

Наконец поминки кончились. Гости мои, пастухи, ушли, приговаривая беспрестанно: «Много обязаны, ваше сиятельство князь Гаврило Симонович; чрезмерно благодарны, ваше сиятельство княгиня Фекла Сидоровна!»– «Вот то-то же, – думал я. – Это не тот уже голос, когда вы провожали меня с вытравленного моего поля».

Я потребовал от княгини своей объяснения, и она подала мне большое письмо. Распечатываю, гляжу на подпись и вижу, – о! как я не догадался прежде, – вижу подпись жида Яньки, сажусь с движением и читаю вслух своей княгине:

«Почтеннейший князь Гаврило Симонович! Благодарю великому предопределению, в глазах которого равны и князь и крестьянин, и староста и жид Янька. Предназначением Саваофа я время от времени, хотя понемногу, хотя кое в чем могу одолжать и одолжаю христиан сея деревни; но если б князья ее и крестьяне были богаче меня, я душевно уверен, что бедный Янька давно бы погиб с голода и, брошенный на распутии в поле, был добычею зверей плотоядных. Так! Я беру залоги и проценты; но кто не берет их? Та только разница, что жид терпит (иногда по необходимости) несколько месяцев сверх срока, а христианин христианина на другой день волочет в тюрьму. Князь! Я родился с тем, чтоб любить всех меня окружающих как братьев и друзей, но никто не хотел видеть во мне ни брата, ни друга. Что делать? Неблагодарность бывала иногда отличительною чертою не только целых семейств и областей, но веков и народов. Так бедному ли жиду Яньке не ожидать ее? О нет! Он не столько счастлив, и долговременные опыты так его в том утвердили, что даже и не ищет вознаграждений, а сердце его любит страстно одолжать. Не думайте, любезный князь, что я, говоря это, даю вам кое-что на замечание! О, совсем нет! Вы добры, но бедны; пособлять бедным велит бог, бог евреев, бог христиан, бог твари всея! Возвращаю вам вашу корову, ибо она ни мне, ни детям моим теперь не нужна. Хочу, чтобы поминки тестя сколько-нибудь стоили звания вас обоих, и все прошу

душевно принять с доброхотством. Как скоро будете в чем-либо иметь нужду, приходите ко мне, и я постараюсь удовлетворить вам по возможности, не призывая в помощь вексельных листов, маклеров и свидетелей. Как мне ни приятно одолжать честных людей, но искренно желаю (и думаю, вы довольны были бы исполнением моего желания), чтобы никогда и ни в ком не иметь нужды. Но если вышнему то не угодно, сердце и сундук Яньки для вас отверзты.

С глубоким почтением есмь, ваш преданнейший слуга

Янька жид».

– О Янька, Янька! – вскричал я воздыхая. – Добродетель твоя достойна всякого христианина.

Весь вечер провели мы с женою в восхищении, размышляя о будущем своем хозяйстве. Я был непомерно весел, ибо глядел на сына и жену, которой не видал более суток, и помышлял о возвращении моей коровы. На досуге строили мы великолепнейшие из всех возможных воздушных замков.

– Корова опять у нас, – говорила княгиня Фекла Сидоровна, – чего ж больше? Батюшкин дом мы продадим и можем, выкупив поле, накупить семян на посев. Рожь и пшеница уродится; огород у нас теперь огромнее, чем прежде, а топтать его не будет больше надобности. О! я предчувствую, что со временем будем мы если не богаче всех князей нашей деревни, по крайней мере довольнее, ибо постараемся довольствоваться тем, что у нас быть может.

Благоразумие жены восхищало меня. Я пал в ее объятия и клялся никогда более не топтать огородов, и сдержал досель свое слово; но она… Увы! сколько слез стоило мне несдержание слова своего княгинею Феклою Сидоровною!

К ночи начался опять довольно сильный осенний дождь. Но, уверяю, я смотрел на него с удовольствием, так что состояние сердца переменяло в глазах наших действия природы. Правда, и то немало придавало нам тогда веселия, что сокровище наше, наша корова возвратилась.

Тут вошел к нам незнакомец и сказал, что везет купца, хозяина своего, на ярмонку; что дурная погода застигла их в поле; что они ожидали успокоиться в сей деревне, но, к несчастию, огни были везде погашены и ни у одних ворот не могли достучаться.

– Этому я верю, – сказал я, взглянув на княгиню, – помнишь ли, Феклуша, какова была ночь родин твоих? Нигде не хотели отпереть.

– В этом есть разница, – отвечала супруга моя с важностию: – тогда был ты, а теперь он везет купца, и, может быть, богатого.

– О! пребогатого и прещедрого, – подхватил извозчик.

– Хотя бы он был щедрее всех щедрых на свете, я не могу пустить его. У меня только и есть покоев, что этот, где стоим, да вот другой вдесятеро меньше, где спим. Суди сам, друг мой: у меня маленькое дитя, крик поминутный, всю ночь возня, – словом, хозяину твоему покойнее ночевать в повозке, чем в моем доме.

Извозчик запечалился, и мы также, как вдруг вспомнил я, что у меня еще есть целый пустой дом моего тестя, и предложил извозчику там поселиться. Предложение принято с радостию. Марья развела на очаге огонь, чтобы вскипятить воды (я не знал тогда, на что бы это купцу, но через несколько лет открылся свет в глазах моих: это значило пить чай) и разогреть жаркое. Я отдал купцу, человеку старому, с страшною бородою, но приятному и миловидному, ключ от шкапа, в котором лежали книги моего тестя. Я никогда в него и не заглядывал.

– Не вздумается ли вам позабавиться чтением, – сказал я с хвастливым видом, чтоб показать купцу, что я не обыкновенный князь в нашей деревне и читать умею.

– Посмотрю: может быть, – отвечал купец, – я намерен пробыть здесь до тех пор, покудова мне вздумается. Я думаю, вы за квартирой не постоите?

– Боже мой! она мне совсем не нужна.

Однако ж мне неприятно казалось, что вместо удивления, что я умею читать, он толкует об отдыхе. Чтоб поразить его и наказать за прежнее невнимание, я сказал еще бесстыднее, что сам очень люблю чтение и нередко целые вечера занимаемся им с женою попеременно.

Купец поднял на меня глаза, и я не мог не закраснеться, солгав так безбожно, ибо Феклуша никак не могла различать более пяти первых букв; но я подлинно читал немногим чем хуже лысого дьячка Якова, который был удивлением всех окрестных приходов.

– Хорошо, – сказал купец весьма сухо, – я сам свободное время провожу в чтении.

Я пошел от него недоволен, «Этот купец или немножко глуп, или очень груб, что не умеет или не хочет различать людей», – сказал я, вошед к княгине, взяв со стола ночник и уводя ее в спальню с сыном.

Он пробыл у нас около недели. Посещал мой дом, говорил часто с княгинею и, казалось, был немало доволен. Мы старались, сколько позволяли наши обстоятельства, угощать его. Особливо приметно было, как он прельщался моим сыном.

Глава XVII
Клад

Чрез несколько дней, как гостил у меня купец, крестили моего сына. Когда Марья, которая была вместе с попом, крестным отцом и матерью, пришла домой и объявила, что сына моего нарекли Никандром, то я вздрогнул и онемел, и княгиня моя заплакала. Марья, также рыдая, уверяла, что никак не могла уговорить и упросить попа дать лучшее имя.

– Вы удивляетесь, друзья мои, не видя причины нашей печали, – сказал князь Гаврило Симонович, обратясь к удивленному семейству Простаковых. – Так, она была мечтательная, но не меньше того чувствительна.

– О злодей! о тиран! – вскричал я с бешенством, боясь взять на руки сына. И подлинно поп нам сделал самую колкую насмешку, обиду и даже навел хлопоты. Не только в высоких фамилиях князей Чистяковых и Буркаловых, но ни во всех благородных домах нашей деревни не было ни одного такого имени; и сия новость чрезмерно нас опечалила. Известно, что всякая фамилия имеет любимые имена, которые, по наследству от дедов переходя ко внукам, производят, что в целой деревне слышно только несколько имен как мужских, так и женских. Сын мой по деревенскому закону должен бы наименован быть Симоном, а его сын – Гаврилою и т. д. по порядку. Посудите ж о негодовании всех благородных из нашей деревни, когда услышали о моем необычайном и, следовательно, непростительном вольнодумстве в таком важном случае.

– Как, – говорил староста собравшимся на ту пору у него гостям, – как можно только ругаться памятию отца своего? А князь Гаврило это делает явно! Не сказано ли где-то (дьячок Яков очень знает где), что благословение отцов строит домы? Как же может покойный князь Симон благословить внука своего Никандра? Поделом будет, если дом его, обрушась, передавит всех беззаконников. Но чтоб таковой соблазн не распространился и нам не навлечь на себя праведного от бога наказания, в силу данной мне инструкции думаю я повестить во всей деревне, чтобы сколько возможно остерегались ходить в дом князя Гаврилы и тем раздражать долготерпение божие.

Через час я все это узнал. К нам пришла княжна Угорелова, с которою жена моя была дружна еще в девках. Я содрогнулся от опасности, в которой все мы находились.

– Пусть грех сей обратится на голову того, кто в том виновен, – вскричал я, – клянусь, я не виноват!

Настал полдень, и меня пришли звать к гостю моему для расчета. Вошед в избу, увидел я, что старик читал с глубоким вниманием одну из книг моих, а пять или шесть лежали подле. Купец снял очки, уговорил меня сесть и спросил дружески:

– Это ваши книги?

– Мои, и достались по наследству.

– Я думаю, они вам в деревенском быту не нужны?

«О! – сказал я сам себе, – видно, ты не знаешь, что я урожденный князь!» – и уже замышлял было о способе, как бы ему поискуснее дать знать, что я не последний из просвещенных людей в деревне, не оказавшись, однако, самохвалом, – как купец, не дождавшись моего ответа, спросил попросту:

– Не уступите ли вы мне эти семь книг? У вас еще больше останется.

– Почему и не так, государь мой, если…

– Я обижать не люблю и дам хорошие деньги.

С сим словом вытащил он из-за пазухи большую кожаную кису, развязал, считал, пересчитывал, все вслух, и, выложив на стол золотом сто рублей, спросил ласково: «Довольны ли вы этим?» С судорожным движением встал я со скамьи, все жилы мои трепетали и глаза заблуж-

дались. Купец, верно, ошибся; он почел чувство высочайшей степени неожидаемого счастия за верх негодования.

– Отчего же вы сердитесь? – сказал он, взявшись опять за кису. – Если сего мало, так скажите прямо. – С сим словом выложил еще с пятьдесят рублей тою же монетою; я взглянул на деньги, на него и все был в прежнем положении. Купец несколько наморщился, выложил еще пятьдесят и спросил холодно: – Теперь будете ль довольны вы?

Ужас, чтоб не оскорбить такого почтенного человека, возвратил мне несколько употребление чувств. «Довольно! – сказал я, щелкая зубами и потирая руки, как бы от страшного озноба, хотя пот лил градом с лица моего. Купец принял опять веселый вид; собрал книги, позвал ямщика и велел уложить их в повозку. Потом, оборотясь ко мне, сказал: «Благодарю, дорогой мой хозяин, за покойную квартиру». С сим словом вынул из кармана горсть мелкого серебра, положил на стол, пожал дружески мою руку и вышел так доволен, как будто бы получил неожиданно какое-либо сокровище. Скоро сокрылся он из виду, но я все еще был в полузабытии. При малейшем шуме казалось мне, что купец возвратился взять назад свои деньги; с воплем вскакивал я, бросался на стол и покрывал грудью свое сокровище. Но купец не возвращался, и я напоследок пришел несколько в себя. Пересмотрел деньги, машинально спрятал в карман и, как отчаянный, побежал домой. Княгиня Фекла Сидоровна и княжна Макруша Угорелова, которая еще гостила, ужаснулись, взглянув на меня. Они ахнули, а Марья подняла крик.

– Что это сделалось, – вопила она, – с вашим сиятельством?

– Ничего, – отвечал я, – где сын мой Никандр? Я хочу видеть сына моего, хотя бы звали его не только Никандром, но и еще чуднее!

Жена, гостья и Марья ахали и крестились. Я побежал в спальню, схватил дитя на руки, вылетел, как стрела, на двор и что есть мочи кричал: «Это мой сын Никандр, Никандр!» Феклуша и княжна упрашивали меня войти в избу и не отдавать себя и сына на позор целой деревне, ибо они считали меня в отчаянии и помешательстве; но я не переставал кричать громче прежнего: «Это мой сын Никандр!»

Мало-помалу скопилось множество народу у моих ворот. Я у всякого спрашивал: «Знаешь ли, как зовут моего сына? Никандром; да, княжны и князья, его зовут Никандром!» Все качали головами, опускали руки и уходя говорили друг другу тихо: «О, бедный, взбесился, и не мудрено; до чего не доведет бедность?»

Когда так торжественно всем повестил я сам, что сына моего зовут Никандром, они удалились от ворот, и я вошел в комнату довольно покойно и отдал плачущей княгине дитя.

– О чем ты плачешь, – спросил я, – и тогда, когда надобно благодарить бога и веселиться?

– Поди успокойся, любезный мой князь; может быть, несчастию и пособить можно. Княжна говорит, что и не такие дела делают за деньги. Поди усни.

– Ничего не надобно, – вскричал я. – Хотя бы поп дал сыну имя еще необыкновеннее, то и тут переменять не надобно. Ты ошибаешься, друг мой, не чудное имя сына привело меня в такое восхищение, которое ты почитаешь сумасшествием, а знай: я нашел клад!

– Клад! – вскричали все: княгиня – оторопев и взглянув на меня с недоумением, как бы почитая это изобретение новым признаком сумасбродства; Марья – присевши от страха по необыкновенности случая; княжна – помертвев от зависти, как мне показалось; а все три раз по десяти произнесли: «Клад? ахти!»

– Уж не давешний ли старик помог вам, князь, – сказала Марья с робостью. – Не ворожея ли он какой, не колдун ли?

– Пусть он колдун или еще и больше того, а только действительно он помог найти клад!

– Так, – продолжала Марья, – верно, чернокнижник: я заметила, он с большим прилежанием читал какие-то претолстые книги.

Слово «чернокнижник» привело меня в смятение. Мне сейчас представилось, с какою щедростью заплатил он мне за книги. Я взглянул на Марью пасмурно и не мог отвечать ей.

Скоро княжна Макруша раскланялась; но, как приметил я, без прежней искренности и довольно холодно. О зависть! что ты делаешь? Как издеваешься над сердцами человеческими?

Как только вышла сиятельная гостья наша, я наскоро рассказал жене и Марье о своей находке и показал деньги. Все мы дивились или глупости, или непомерной щедрости купца, или и подлинно великому, но сокровенному достоинству книг наших.

– Это недаром, – говорила со вздохом Марья, – верно, он чернокнижник.

– Хотя бы он был сам злой демон и тогда, если начнет делать людям добро, переменится он в ангела, – сказал я сердито и побежал к другу моему жиду Яньке. Он крайне радовался счастливой перемене моего состояния, обещался пособить советами в заведении хозяйства; но никак не хотел взять от меня той суммы, в чем заложено было платье жены моей и что переменил я коровою.

– Янька! – сказал я несколько горячо. – Когда я был беден до нищеты, не краснеясь принимал от тебя дары твои. Когда я теперь слава богу… то ты не обижай меня отказом.

Янька взял деньги и обещал прийти ко мне на вечер праздновать крестины. «Вы, князь, ни о чем не беспокойтесь! Со мною будет всего довольно!»

Мы расстались веселы.

Глава XVIII
Чернокнижник

Возвратясь домой, я был вне себя от радости.

– Ну, жена, с Янькою я квит; теперь можешь ты наряжаться в розовое платье, не краснеясь от стыда, и белое, не бледнея от злости. Все наше, и никому ничего не должны! Теперь посоветуем, как нам вести хозяйство. Я думаю нанять работника и девку в помощь Марье, а она станет смотреть за домашним хозяйством и нашим наследником, меж тем как мы по наступлении, бог даст, весны и лета будем работать в поле.

– Изрядно, – сказала жена, которая в теперешних обстоятельствах никак не хотела забыть, что она – урожденная княжна Буркалова и настоящая княгиня Чистякова. – Изрядно, друг мой, это все хорошо; но у Мавруши, дочери Старостиной, такой прекрасный сарафан из голубой материи, что нельзя не прельститься. – Она потупила глаза.

– Прельщаться вредно, – сказал я очень философски. – Если б не эта беда, не вытоптал бы я своего огорода.

Замолчав на несколько времени, опять принялись говорить о будущем богатстве.

– Уже мы перестроили дом и сделали новый час от часу огромнее; поля наши неизмеримы, стада неисчетны, слуги блестят в золоте и серебре, и, наконец, мы поехали в карете, запряженной шестью вороных коней, – сказал я улыбаясь.

– Нет, белых, – отвечала жена доказательно. – Это гораздо приличнее; на мне будет белое платье, белая шляпка, так следует и лошадям быть белым.

– Ты совсем не имеешь вкуса, – сказал я, подняв нос с важностию знатока, – надобно смотреть на симметрию; и лысый дьячок Яков это очень хорошо рассказывает, а ему можно, кажется, больше верить, нежели кому-нибудь другому; он бывал в Москве и очень недалеко от самого Петербурга.

Пораженная моим доказательством, княгиня не знала, что и отвечать; но призналась с невинностью, что слово «симметрия» для нее не очень понятно!

– Давно бы об этом сказала, – подхватил я. – Все тебе растолкую. У тебя черные глаза, черные брови, черные волосы, а потому и лошади должны быть вороные! Вот тебе и симметрия! Понимаешь?

Несмотря на превосходную симметрию и важный вид мой, мы никак не могли согласиться; у каждого в голове была своя симметрия. Спор становился горячее, час от часу запальчивее; наконец, дошло было до того, что я почел за нужное поднять прародительский жезл и хотел сделать симметрию между им и спиною моей княгини, как вдруг отворяется дверь, и удивление мое было немалое, увидя, что вошли староста, человека три десятских, человек пять князей с пасмурным и величавым видом.

– Добро пожаловать, почтенные господа, – сказал я, упрашивая их сесть. Я был уверен, что они пришли поздравить меня с благополучием, и намеревался принять самый боярский вид. – Что скажете, милостивые государи, новенького?

Староста. Да, ваше сиятельство, мы слышали некоторую новость о вашем обогащении! Дай бог, только бы это было законным образом!

Я. Я очень рад, любезный Памфил Парамонович! Бог благословил меня нечаянным образом. Теперь у нас с женою идет разноголосица, как устроить хозяйство. Она хочет так, а я иначе. Вы кстати пожаловали. Будучи такой мудрый человек и зная совершенно политику унаваживать землю, пахать, сеять и жать хлеб, вы, конечно, подадите мне благоразумный совет.

Староста. Не хвастовски сказать, я в этих делах из первых знатоков в деревне и не откажусь пособить вам, как скоро вы удовлетворительно будете отвечать на мои вопросы.

Я*(с удивлением).* Вопросы? В чем?

Староста. Вы знаете, думаю, что у меня есть наставление или инструкция от земского суда, в которой именно предписано мне иметь неослабный надзор над всеми, между прочим и ворожеями, колдунами, оборотнями.

Я. Хорошо, господин староста.

Староста. А под сими титлами разумеются с позволения вашего и чернокнижники.

Вдруг понял я, к чему клонилось дело; хотя робость и была мне свойственна, а особливо пред таким человеком, каков староста деревни, который имел наставления или инструкции от земского суда, однако чувство своей невинности есть самый острый меч для рассечения плевел клеветы и злобы.

– Что далее скажешь, староста? – сказал я надменно, помня, что я не прежний бедняк. Слово «староста» без прибаутки «господин» было ударом для Памфила Парамоновича. С первого дня его староства он не слыхал подобной обиды. Желчь разлилась в груди его, глаза засверкали, он трепетал от гнева за униженную честь свою.

Староста. Так, видно, придется доказать вам, князь, что я здесь подлинно староста; и что имею особое наставление или инструкцию от земского суда. Итак, именем того знаменитого судилища спрашиваю вас, откуда вы получили клад?

Слова: «колдун, чародей, чернокнижник, клад» – и прежде навели на меня великий страх; а теперь, когда староста делает допрос, казалось бы, что я лишусь чувств от ужаса; но вышло напротив. Вот новое действие натуры человеческой! Я решился быть храбрым, хотя бы то стоило не только жизни, но и потеряния великого моего сана.

Я. Откуда я взял клад, староста? Тебе до этого какое дело? Я не спрашиваю тебя, где взял ты недавно барана с двумя овцами, молодого жеребенка и много кое-чего другого; конечно, все это куплено не за свои деньги. Но я не спрашивал, да, думаю, и никто из сих высокопочтеннейших гостей, которые у тебя были.

Высокопочтеннейшие гости мои поглаживали себя по бородам и, казалось, были довольны мною.

Староста. Не о том дело, князь Гаврило Симонович; но зачем упускать из виду чернокнижника, который может обморачивать людей? Если б вы его задержали и объявили мне, может быть…

Я. Он честнейший старый человек. А если почему и можно его назвать чернокнижником, так разве потому, что купил у меня тестевы книги; а книги эти и подлинно от давнего времени были отменно черны.

Разговор становился то живее, то тише. Иногда грозили мне всеми наказаниями, какие приготовлены для чародеев и их сообщников. Иногда улещали теми наградами, какие ожидают доносчиков на великих злодеев в мире; и я не знаю, чем бы кончился такой политический разговор, если бы жид Янька не вошел с своим работником, который обременен был съестным и напитками.

– О чем такой шум в сем знаменитом собрании? Не лучше ли вечер провести веселее, чем о пустом спорить?

– Конечно, и мы о том же несколько раз говорили, – сказали князья и прочие именитые люди, глядя с отеческою нежностию на расставляемые по столу бутылки. Да вот видишь все Памфил Парамонович и его сиятельство в чем-то не ладят.

Староста. О пустом спорить? Янька, нет! Ты тут ничего не понимаешь. Если б дело шло о водке, о вине и других напитках, может быть ты…

Янька. Если дело идет о человеке, то и я судить могу, и я имею сердце.

Староста. Ты – жид, так у тебя и сердце жидовское!

Я. В его сердце более любви к ближнему, чем у тебя, староста, ко взяткам и прицепкам!

Все князья. Ах боже мой! что-то будет!

Староста. Извольте, князь, шествовать со мною!

Я. Куда?

Староста. В сборную избу; там порассудим миром о чернокнижнике и его сообщниках. Я очень знаю свою должность, ибо у меня есть наставление или инструкция от земского суда. Дело такой важности, а я не намерен отвечать за других. Извольте идти, князь Гаврило Симонович!

Я. Изволь ты прежде, староста, сходить к черту, а я намерен провести ночь дома и притом весело.

Страшный бунт начался. Староста бесился. Гости то его, то меня склоняли к перемирию, если нельзя уже к миру. Марья и княгиня Фекла Сидоровна плакали взрыд, дитя вопило; десятские приступали по приказу старосты брать меня, я грозил и силился хотя и тщетно вытащить безэфесный тесак из ножен. Словом: такой происходил вой, крик, шум и гарк, какого от создания мира едва ли слышно было.

Жид Янька, который во все это время стоял молча, поджав руки, наконец решился действовать. Он раздвинул толпу, попросил скромно выслушать в молчании одно слово; они склонились, и он начал говорить:

– Знаменитые князья и почтеннейшие люди нашей деревни! вы нередко слушали по часу жида Яньку, когда он увещевал вас в шинке своем не пить больше, а особливо в долг, и не принимал ваших залогов; но вы упрашивали меня, я склонялся и отпускал в долг. Когда я делал вам удовольствие, вас слушаясь, сделайте и вы мне, послушавшись и меня. Я буду просить вас о миролюбии и кротости! Вы очень кричите громко! хорошо, если не можете воздержаться; однако ж признайтесь, что, говоря тихо и без жару, можно говорить умнее, а особливо о делах такой важности, какое приключилось и в сем знаменитом обществе, именно о чернокнижии. Помоги моему неведению, высокопочтеннейший староста Памфил Парамонович; растолкуй мне, что такое чернокнижник?

Староста. Ворожея злой.

Жид. А что такое ворожея?

Староста. Колдун!

Жид. Что ж такое колдун и что он делает?

Староста. Всякие пакости людям. Он наводит засухи, проливные дожди; портит скот; делает людей оборотнями и прочее и прочее.

– Если так, то ворожеи и подлинно злые люди, – продолжал жид, – и стоят наказания. Но посмотрим, что сделал старый проезжий, гостивший в доме князя Гаврилы Симоновича? Ему полюбилось несколько больших старинных священных ваших книг, и он купил их. Книги эти знаю я потому, что покойный князь Сидор Архипович Буркалов приносил ко мне не один раз закладывать, но я не брал. Что ж тут злого сделал старый купец? Кого превратил он в оборотня? Ничего не бывало: он сделал добродетельнейший поступок; он поправил состояние знаменитой, но недостаточной фамилии князей Чистяковых! Итак, высокопочтеннейший староста Памфил Парамонович, и вы, знаменитые князья, со всем благородным сим собранием! не гораздо ли лучше, вместо того чтобы спорить о том, о чем все мы ничего верного не знаем, и драть горло ужасным криком, – не сто раз ли лучше и похвальнее начать праздновать крестины сына почтенного нашего хозяина?

Не дожидаясь ответа, он подошел к столу, налил большой кубок хорошего вина и почтительно поднес к Памфилу Парамоновичу. Староста поглядел на кубок, на жида, на все собрание и с легкою улыбкою сказал: «Право, Янька Янкелиович, ты – великий искуситель!» С сим словом взял он кубок, поклонился на все стороны и выпил.

Князья и все сочлены знаменитого сего собрания подняли радостный крик и ударили в ладони. Мир водворился. Праздник мой продолжался долго. Еще говорили и спорили о колдунах, оборотнях и чернокнижниках, но уже без шуму, без ссоры, и гораздо за полночь разошлись по домам, желая друг другу доброй ночи.

Глава XIX
Знание большого света

Хозяйство свое устроили мы с женою довольно хорошо. Я нанял работника Фому и работницу Маврушу, купил лошаденку на место павшей от голода. Плетень, разделявший огород мой от тестева, разобрал я, чем сохранил в домашней экономии несколько денег, ибо зимою не покупал дров. Поле свое также выкупил. Дни шли в занятиях, а зимние вечера никто не отгадает в чем, – в чтении! Так мне пришла благоразумнейшая мысль научить жену мою знать обычаи большого света. «Но чем же, – думал я, – можно сделать это удобнее, как не чтением хороших книг? Тут увидит она, что есть князья, совсем не похожие на князя Гаврилу; есть княгини другого рода, чем княгиня Фекла; словом: она узнает то, о чем до сих пор и понятия не имела». Ах! она и подлинно то узнала! Но уже слишком много! С таким похвальным намерением пошел я в дом тестя, отпер шкап, вынул около сотни маленьких книжек (большие все взял старый купец) и с важностию начал рассматривать. Они почти все были с раскрашенными картинками. А что этого прелестнее? Первая попавшаяся мне книжка была: «Бабьи увертки».[46] «Это недурно, – сказал я улыбаясь. – Надобно княгине Феклуше показать, какие есть уроды из ее пола, дабы она могла остерегаться; княжны Макруши я не боюсь, ибо она во многих случаях ясно доказала непорочность нрава; пусть они будут дружны. Но о других княжнах и княгинях я подумаю, порассмотрю».

Продолжая перебирать свою библиотеку, нашел я книги, следующие по ряду:[47] о Бове Королевиче; о Принцессе Милитрисе; о Еруслане Лазаревиче; о Булате-молодце; об Иване-царевиче и Сером волке и прочие такого же рода. Все сии сокровища перенес я к себе и начал в свободные вечера почитывать и научать жену мою знать свет. Хотя я тогда и не знал, как порядочно думать, однако почти то же думал, как и тот, кто сказал docendo difmus,[48] приятное удивление моей княгини веселило меня; я читал сколько можно лучше и всё с жаром. Она печалилась и чуть не плакала, слыша, как принц или принцесса, гонимые злым волшебником, беспрестанно разлучаются и не могут наслаждаться своею любовию беспрепятственно.

– Ах, как это жалко! – говорила она, воздыхая, – что, милый друг, если б в то время мешал тебе злой чародей, когда ты лазил через забор в бобовую беседку, что бы сделал ты?

– Я? – был ответ мой с движением гнева и угрозою руками, – да я, знаешь, что б с ним сделал?

– А что, любезный князь?

– Ну, право, – отвечал я, задумавшись, – теперь хорошенько не придумаю; а уж, верно бы, что-нибудь да сделал.

Когда читывал я о знаменитом подвиге какого-нибудь рыцаря, как он в темную ночь с величайшею опасностию, сломив себе шею, карабкается к окну возлюбленной своей царевны, Феклуша не смела дохнуть, глаза ее уставлялись на мне. Но когда доходил я до того места, где рыцарь, как-нибудь оступясь, летит вниз, падает с шумом, и хотя не ушибается, ибо он рыцарь и ушибаться не должен, однако падением разбужает царскую стражу; она спешит; окружает несчастного, оковывает цепями и волочет в тюрьму, – тут-то Феклуша произносила: «Ах!» –

---

[46] *«Бабьи увертки»* – Подразумевается лубочная книга «Повесть о купцовой жене и о прикащике». Одна из картинок в книге была снабжена надписью: «О бабьих увертках и непостоянных их документах». (Комментарий Ю. Манна).

[47] *…нашел я книги, следующие по ряду…* – Упоминаемые лубочные издания не имеют устойчивых канонических названий. Известны, в частности, произведения под такими названиями: «Гистория о храбром и славном витязе Бове королевиче и о смерти отца его», «Сказка о Еруслане Лазаревиче», «Сказка о Булате-молодце», «Сказка об Иване царевиче, жар птице и сером волке». (Комментарий Ю. Манна).

[48] *…тот, кто сказал docendo discimus* (уча учимся) (Правильно: docendo discimus – уча учимся (лат. – Ред.)). – выражение римского философа и писателя Л.-А. Сенеки (ок. 4 г. до н. э.– 65 г. в, э.), ставшее крылатым. (Комментарий Ю. Манна).

и веретено выпадало из рук ее. «Ах, слава богу! – продолжала она спустя несколько минут, – слава богу, что забор наш был невысок, да и стражей не было, кроме батюшки, который, воротясь из гостей от Яньки, так спал, что, упади сто рыцарей с неба, он не проснется». – «Конечно», – обыкновенно отвечал я с видом гордости, видя, что природные дарования и чувствительность моей супруги от чтения совершенствуются.

В таком препровождении времени застала нас весна зеленая. Я с Фомою, новым своим работником, отправились в поле, а княгиня с Марьею и Маврушею занялись огородом. Все шло очень хорошо, и, когда пришло время жатвы, я с отеческою нежностью смотрел на блестящие поля свои и на большой зреющий огород.

– О! любезный батюшка, – вскричал я сквозь слезы. – Как справедливы были последние слова твои! И подлинно, что было поле мое в прошлое лето? О любовь, любовь!

В знак сыновней благодарности к памяти доброго отца, по окончании жатвы и собрав весь хлеб и овощи огородные, отслужил я панихиду и сделал поминки.

Что рассказывать долее об единообразной жизни моей? довольно упомянуть, что так протекли два лета и две зимы. Летом занимались мы сельскими работами, а зимою – чтением. И то и другое шло очень успешно. Дом мой стал полон всякого добра; а Феклуша так с самого начала пристрастилась к просвещению и так охотно принялась, что в течение сих двух лет нашей брачной жизни изряднехонько читала и писала. Одна разве поповна могла в сем перещеголять мою княгиню, а впрочем, ни дочь старосты. Я все это видел. Сын мой уже ходил немного, и, глядя на меня, произносил, с улыбкою протягивая ручонки: «Князь тятя, тятя князь!» О, как это любо! Я от восхищения плакал и обнимал Феклушу, которая научила его лепетать такие милые слова.

В один зимний вечер, когда я только что кончил самую любопытную сцену моего витязя, и именно, как он, победя все препятствия и опасности, дошел до спальни жены своего друга и приятно започивал там, княгиня меня спросила:

– Скажи, пожалуй, друг мой, как это можно? Вить она – замужняя женщина!

– Так что ж? Посмотри, что делается в свете, – продолжал я, горя нетерпеливою ревностию более и более научать ее. – В свете, если дочь бежит из дома родительского, сын похитит невинную девушку, муж обольстит другую, жена примет в спальню домашнего друга, – это такие безделицы, о которых мало и думают, и даже самые молоденькие девушки, разумея именитого рода, рассказывают все тонкости сих происшествий с такою непринужденностию, с таким хладнокровием, что, смотря на них, искушение берет уверительно сказать: «Бедные малютки! ах! вы скорбите, что не сами на месте тех обольщенных, и с нетерпением ожидаете минуты и случая сделать такое же отважное дело».

Но это все, говорю я тебе, пустяки, которые на другой день забывают. В свете бывают дела гораздо поотличнее, и нередко, именно: там жены отравляют и режут мужей, чтоб выйти за любовников; мужья – жен, чтоб соединиться с любезными; мачехи – пасынков, чтоб своим детям доставить имение; вотчимы делают то же и для тех же причин. Сын тягается по судам с отцом, брат с братом, сестра с сестрою; друг на друга клевещут, публично чернят, обманывают, разоряют и бог знает что. Если б не боялись телесного наказания, верно бы яд или железо оканчивали скорее производство дел такого рода. Ты может быть, удивляешься, – сказал я жене своей, – откуда я все это узнал, ибо в книгах сих рыцари того не делали? И не мудрено, – они были люди старого века! Небезызвестно тебе, душа моя, что дедушка мой большую часть жизни провел в городе. Все это рассказал он подробно моему отцу; а как я ближайший его родственник, а потому и наследник, то все сведения сии без всякой тяжбы достались мне.

Прошла зима, настала весна, потом лето, и мы в поте лица своего трудились, благодаря бога, что имеем силы и способы. В один таковой день, как был я в поле с своим Фомою, слышу жалостный вопль на соседней ниве. Мы бежим и что же видим? Князь Акила Варфоломеевич нещадно бил княгиню Варвару Вуколовну, жену свою. Мы с Фомою принялись разнимать, но

долго не могли успеть; наконец кое-как удалось. Княгиня Варвара, освободясь от пламенных объятий мужа, побежала с поля, оправляя волосы и платье; а князь Акила кричал как сумасшедший: «Ах она злодейка! пришлось умереть от стыда».

– В таких случаях, любезный князь, – отвечал я уверительно, – должно утешать себя, приводя на мысль, что в большом свете бывает и хуже сего. Там нередко…

– Черт побери этот большой свет, – вскричал князь Акила, – там живут не мои жены; и мне до них нужды нет, хоть все перевешайся. А я бью свою за то…

– Полно, полно, любезный князь, успокойся и предоставь все времени. Оно…

– Мне успокоиться? Нет! иду сей же час и докажу ей…

Решительность его меня смутила. «Он и вправду наделает беды, – думал я, судя по твердому его виду. – Как бы мне отвести его от такого тяжкого греха за безделицу, о которой в большом свете часто и не думают». Мне вспала предорогая мысль.

– Э, князь! – вскричал я с радостию. – Покуда буря в сердце твоем пройдет, переночуй у меня. Ты знаешь, я теперь благодаря бога не по-прежнему. Княгиня моя изготовит сытный ужин; а жид Янька мне искренний приятель; вечер проведем весело, а там что бог даст.

Князь Акила Варфоломеевич несколько ломался, наконец воспоминание о приязни ко мне жида перемогло его. Он согласился; а чтоб не быть неблагодарным, начал со всех сил жать мою ниву. Светлый месяц взошел уже на безоблачное небо, как мы приближались к дому.

Вошед в комнату, вижу, что Марья затопила печку; а молодой князь Чистяков сидел, поджав ноги, на прилавке и смотрел на огонь.

– Где же княгиня? – спросил я.

– Видно, куда-нибудь отлучилась, – отвечала Марья. – Я сейчас только с огорода, где полола целый день.

Посидев минут десять с князем Акилою Варфоломеевичем, я опять спросил:

– Марья! да где ж княгиня?

– Право, не знаю, – отвечала она. – Не пойти ли поискать ее у княжны Макруши? Она нередко там бывает с некоторого времени.

– Дело! – сказал я. – Но прежде дай нам огня на стол, потом зайди к жиду Яньке и скажи, что у меня есть гость. Понимаешь? А потом пойди и к княжне Макруше. – Марья поставила свечу и вышла.

Посидев несколько времени, я нечаянно увидел у образа сложенное письмо. Беру в руки, смотрю на подпись; мороз подрал меня по коже: я узнаю руку моей княгини и, не могши устоять на ногах, опускаюсь на скамью и трепещущими руками развертываю письмо.

– Что с вами сделалось, любезный князь? – спросил гость.

– Ничего, – отвечал я и начал читать про себя:

«Сиятельнейший князь и благороднейший супруг мой! Ваше сиятельство так много насказали мне любопытного о большом свете, что родили непреодолимое желание видеть его, пожить в нем и своим опытом удостовериться в истине слов ваших, Прощайте, сиятельнейший князь, н не печальтесь. В прекрасных книгах своих найдете вы много подобного. Принцесса Милитриса Кирбитьевна оставила мужа своего Дурандаса, чтобы следовать за прекрасным и дражайшим ее Маркобруном. Когда и принцесса это сделала, для чего не сделать того княгине? а путеводитель мой ничем не хуже Маркобруна, и также князь, только не такой, как ваше сиятельство. Вить Дурандас же утешился, взяв к себе любезную принцессу Голощепу; почему же и вашему сиятельству не утешиться, склонив какую-нибудь княжну Макрушу, княжну Акульку, княжну Матрешку или другую какую-нибудь из знаменитых домов нашей деревни? Прощайте! Влюбленный в меня проводник (с которым уже я давно знакома) понуждает скорее выйти из ваших чертогов, чтобы не нагрянуло ваше сиятельство, обремененный серпами и косами.

Вам преданнейшая ко услугам и проч.

P. S. Марья ничего не знает; ее нечего и спрашивать».

Как сноп повалился я со скамьи на пол. Пришед в себя, вижу, что я опять на скамье, поддерживаемый князем Акилою Варфоломеевичем и Марьею. Из глаз князя видел я, что он прочел несчастное письмо и ему известен стыд мой и поношение!

– Полно, князь, ребячиться, – сказал он, обняв меня одною рукою, а в другой держа кубок с вином. – За здоровье неизвестного героя, который сыграл с тобою такую несносную шутку! Видно, брат, этот князь не по-нашему. Виват! – С сим словом опорожнил он кубок.

– Бесчеловечный! – сказал я с тяжким вздохом, – ты можешь шутить в такое время!

– Ничего, – сказал он. – В таких случаях, любезный князь, должно утешать себя, приводя на мысль, что в большом свете бывает и хуже сего. Там нередко…

– Что мне до большого света? – возопил я болезненно,

– Полно, полно, любезный князь, успокойся и предоставь все времени.

– Оно во гробе, мое успокоение, – отвечал я.

– Пустое, брат! Можно еще и на земле найти его. Я очень тебе благодарен, что ты привел меня в самого себя. Я теперь все забыл и покоен совершенно. Княгиня Варвара не хуже Феклы Сидоровны умеет готовить ужины, а я также не в ссоре с жидом Янькою. Пойдем-ка, брат, ночевать ко мне; за сыном присмотрит и Марья; а там что бог даст.

Сколько он ни говорил, но тщетно. Тяжкая гора лежала на сердце моем. Мозг в костях оледенел, я едва мог дышать и думал, что задохнусь. Князь Акила Варфоломеевич утешал меня и пил вино; опять пил и опять утешал, напился допьяна, но нимало меня не утешил.

– Ну, когда так, бог с тобою. Пусть он тебя утешает, – сказал он несколько сердито и собравшись идти. – Пойти было к княгине Варваре Вуколовне. Она хотя, правда, и виновата, но и я изрядно дал ей знать себя. Нескоро опять за то же примется.

Он ушел. Я лег в постелю и только около утра мог пролить немного слез, и грусть моя несколько рассеялась. Но я был в сильном жару. Марья сказывала, что всю ночь бредил. «Что делать, Марья? может быть, и умру», – отвечал я и опять погружался в забытие. Так провел я два дни и три ночи.

Глава XX
Прощай, родина!

Поутру на третий день после побега жены моей взошло прекрасное солнце на голубом небе. Я встал с постели, взглянул на спящего тихим сном своего Никандра, и слезы полились по щекам моим. «Невинный младенец, – сказал я, – ты не знаешь мучений отца твоего; дай бог, чтоб и никогда не узнал их, а особливо не испытал над собою». Легонько коснулся левою рукою к его темени, поднял правую вверх и воззвал: «Боже! не оставь сироты сего!» Малютка проснулся, протянул с улыбкою ко мне руки свои; я схватил его, поднял вверх и вскричал: «Отец милосердый! приими его под кров свой; у него нет матери!»

Сладкое утешение разлилось в душе моей. Мысли мои прояснились. Казалось, что в сию минуту получил я новую кровь, новое сердце, все бытие новое. «Как! – сказал я, – или для того предаюсь постыдному унынию, недостойному мужчины, утомительной праздности, меня расслабляющей, что жена моя была распутная женщина? разве это со мною одним случилось? О! забуду неблагодарную и стану жить для сына!» Того же утра отправился я с Фомою в поле к немалому удовольствию всего моего семейства. Марья от радости не знала, что и делать.

– Так, – твердила она, – я была уверена, что бог вас помилует, и вы опять будете веселы по-прежнему. Пусть княгиня Фекла Сидоровна рыскает по свету. Она нигде не будет покойнее, как в сем доме. Раскается, но поздно. Бог рассудит ее и того бездельника.

– Оставь их, Марья, – сказал я важно, – и не говори больше ни слова.

Нельзя сказать, чтобы я покойно ехал по своей деревне. Мне казалось, что все нарочно на меня пялили глаза, что было и справедливо. Я то краснел, то бледнел и только понуждал Фому погонять лошадь. Назад ехал уже покойнее, на другой день и того более, а по прошествии недель шести я хотя и не забыл Феклуши, однако и вспоминал об ней без того болезненного чувства, которое мучило меня в первые дни. Я начинал верить, что со временем совершенно утешусь. Посещал людей, сам иногда принимал их и говорил: «Так! время – прекрасный лекарь в душевных болезнях».

Увы! горькое бедствие ожидало меня. В один день, на солнечном закате, радостно входил я в деревню подло телеги с последними снопами. «Слава богу, – сказал я, – с полем разделался. Теперь работы пойдут домашние; это гораздо легче». Я с улыбкою приводил в порядок большой пучок васильков, которые нарвал в подарок сыну.

Вошед в комнату, я никого не вижу. «Быть может, они в огороде», – подумал я и пошел туда; но там была одна Маврушка, которая вытаскивала морковь и репу. «Где же прочие?» – спросил я. «Не знаю, я с обеда самого здесь», – был ответ. Опять вхожу в комнату и совершенно равнодушно, без всякого злого предчувствия, сидя на скамье, смотрю с веселым видом, как Фома с телеги переносит снопы на гумно.

Наконец Марья входит, и одна.

– Как! – спросила она, – вы уже и дома? А где же почтенные гости? – И с сими словами поставила на стол две бутылки виноградного вина.

– Ты сошла с ума, Марья, – вскричал я нетерпеливо, – о каких гостях говоришь ты? я никого не видал, пришед домой. Где сын мой?

Марья онемела;

– Где сын мой! – вскричал я со гневом, – куда ты девала его?

Марья побледнела и сказала с трепетом:

– Он оставался здесь с гостями, как пошла я к жиду.

Я окаменел! Тут-то уже горькое предчувствие наполнило душу мою. Подобно неподвижному истукану сидел я на скамье, устремив страшный взор на Марью. «Говори все, как было», – сказал я, скрежеща зубами, и Марья открыла, что незадолго пред тем в деревне появилась бога-

тая коляска и прямо ехала к моему дому. Любопытство вывело Марью за вороты. Из коляски выходят два господина и спрашивают ее: «Не это ли дом князя Гаврилы Симоновича Чистякова?» – «Это!» – «Дома ли он?» – «Нет, он в поле». – «Конечно, он не осердится, когда мы несколько минут отдохнем у него!» – «О нет! он такой добрый».

Они вошли и сели. «Не сын ли это его?» – «Сын!» – «Как зовут?» – «Никандром». – «Который ему год?» – «Около двух с половиною». – «Кто крестил его?» – «Отец Онисифор, поп нашей деревни!» Гости, казалось, были довольны ее ответами. «Поди сюда, малютка», – сказал старший из них и подал ему пряник и побрякушку. Дитя отменно было весело и наконец осмелилось сесть старику на колени! «Есть ли у тебя, старушка, в доме хорошее вино?» – спросил старик. – «Нет, – отвечала я, – князь Гаврило Симонович им не запасается, а берет на случай гостей у жида Яньки, который содержит шинок». – «А далеко ли этот шинок?» – «Довольно! на другой стороне деревни». – «Что делать? – сказал гость. – Тебе надобно потрудиться, старушка, и сходить, а мы за труд наградим». – «Охотно б рада, но дитя на кого покинуть?» – «Мы постережем».

Словом: гости дали Марье денег, она пошла, а, пришедши назад, нашла одного меня, а коляска с учтивыми гостьми пропала, а с ними вместе не стало и сына моего Никандра.

– Ясно все! Они украли его, – закричал я таким голосом, что Марья задрожала.

– Бог милостив, – сказала она, – может быть, гости уехали, а дитя где-нибудь бродит по деревне. Вить это бывало нередко и прежде. Сохрани, мати божия! неужели-таки гости эти людоеды?

Я бросился на улицу. Бегал, крича везде: «Никандр! сын мой! где ты?» Был во всяком доме, спрашивал у всякого проходящего, у старого и малого. «Не знаю», – был всеобщий ответ.

Наступили сумерки. Нося в душе целый ад, в крайнем изнеможении брел я домой с воплем и стенанием. Конечно, это слабость; но всякий отец, представь себя на моем месте, и он застенает, а если нет, я в глаза скажу ему: «Это не твое дитя, оно есть плод распутства жены твоей. Можно обмануть легковерного мужа, но природу никогда».

В таком состоянии вхожу в дом, и новое несчастие поражает меня новым ужасом. Марья лежала без чувств на полу; Фома и Мавруша плакали, силясь поднять ее. «Что еще за новость?» – сказал я, отступив назад.

Фома отвечал: «Как ушли вы искать молодого князя, Марья плакала, стенала и ломала себе руки. «О! я несчастная, – говорила она. – Может быть, я причиною сей потери! но бог милосерд, он, конечно, сжалится надо мною». Она все еще надеялась и читала молитвы. Но когда услышала ваш стон и голос, она ахнула, упала на пол и умерла». Удар сей отвратил первый, и я не сошел с ума, хотя весьма был к тому близок. Приложив руку к сердцу Марьи, я увидел, что биение его остановилось. «Так! она умерла, надобно поднять ее», – сказал я тихо.

Я сам не понимал чувств своих. Так, я лишился сына! потеря безмерная, но и Марья любила меня с материнскою нежностию. О! как горестна, как плачевна была для меня ночь та! Что значит потеря неверной жены против потери сына? Одна мысль неверности первой есть уже утешение! Но что мог сделать невинный младенец? О! как мучительно было мое положение!

На третий день опустил я тело Марьи в могилу подло почтенного отца моего князя Симона. Я не мог плакать. Бродил днем, подобно ночному привидению. Сколько жид Янька ни утешал меня, но я худо принимал его участие. Так прошло еще несколько дней, как однажды, сидя подгорюнившись, увидел я собранные в углу под лавкою книги мои, по коим я просвещал мою княгиню. Горестное воспоминание растерзало меня. «Мерзкие сочинения! – вскричал я, – да будет терпеть такие же муки во аде ваш сочинитель, как здесь поступлю я с вами. Мавруша! разложи на очаге огонь, да побольше». Меж тем я нагнулся и начал поодиначке таскать их из-под лавки и швырять на пол. Но, о чудо! когда я таким образом тормошил мою избранную библиотеку, рвал, а некоторые книги грыз зубами, слышу – что-то под рукою зазвенело; вытаски-

ваю и вижу довольно большой кошелек, развязываю, и глаза мои ослепились, золото посыпалось. Я стоял долго, не шевелясь ни одним суставом, как под конец увидел между червонцами маленькую записочку; читаю: «Утешьтесь, князь! я с добрым намерением взял вашего сына!»

«Так! это деньги за моего сына?» – вскричал я в бешенстве и начал сеять червонцами по комнате и топтать ногами. Такая горячность моя продолжалась около получаса; я проклинал похитителя и предавал его во власть целым полчищам бесов; проклинал Феклушу и едва ли не самого себя за свое неразумие. После по обыкновенному ходу природы поуспокоился; холоднокровно сжег свои книги, а там еще холоднокровнее начал собирать раскиданные червонцы. Что делать? Надобно было чем-нибудь утешиться. Я насчитал их с лишком сотню.

Сентябрь месяц был в половине; а я все еще находился в несносном положении, то есть: я уже не плакал (или по крайней мере редко), не рвался, не топал ногами, но и ни в чем не находил удовольствия. Сердце мое было подобно зеркалу, разбитому в тысячу кусков. Хотя каждый из них и представляет часть своего предмета, но все вместе составляют преотвратительную картину. «Нет, – сказал я, – здесь никогда не буду я спокойнее. Эта ленточка приводит на мысль неверную Феклушу, этот пучок васильков – пропавшего сына; эта трость и прочие безделушки напоминают об отце и Марье, которые уже в могилах. Нет, не останусь здесь более. Пойду, куда провидение управит шаги мои. Сноснее страдать между людьми, не знающими тому причины, страдать под небом незнакомым, где не ощущал я никаких радостей в жизни».

Утвердясь в сей мысли, взял я лист бумаги, перо и написал следующее письмо:

«Любезнейший мой друг, Янька Янкелиович! Я не могу жить в сей деревне, ибо несчастлив; а мысль о прежних счастливых днях, здесь проведенных, делает меня еще несчастнее. Я намерен удалиться и, может быть, надолго. Не иду прощаться с тобою, ибо знаю, ты станешь удерживать; я не соглашусь ни за что, а это больше еще обоих нас опечалит. Итак, прости, Янька, великодушный друг мой! У меня остаются два домика, а один с небольшими приборами; поле, огороды и достаточный запасец в хлебе и прочем, – всё тебе оставляю. Если Фома и Мавруша захотят служить и тебе, хорошо; если вздумают отойти, отпусти и награди. Это письмо, я других форм не знаю, будет перед всею деревнею и даже, если нужда потребует, перед всяким судом утвердительною бумагою, что я оставляю тебе все свое имение; ибо уверен, что, когда возвращусь, ты со мною поделишься. Такой доверенности не сделал бы я никому. Ты, может быть, любопытен знать, куда я пойду отсюда? И сам, право, не знаю, однако намерен пробраться к столице. Деньги у меня есть, и на первый случай довольно. Прости, мой верный друг, прости, Янька!

Князь Гаврило Симонович
княж Чистяков».

Запечатав письмо и сделав надпись, я оделся по-дорожному. Уклал в небольшую сумку белье, кое-что из платья и позвал Фому.

– Друг мой, – сказал я, – сегодня иду в ближнюю деревню к приятелю и, может быть, пробуду там дня два-три. Мне нужно успокоение.

– О! конечно, – сказал Фома весело, – это правда, ваше сиятельство! Я заложу лошадь и вместе…

– Нет! ты оставайся; дома не без дела, а я пойду пешком. Завтра поутру отнеси это письмо к жиду Яньке; смотри ж не забудь, – оно очень важное.

Устроя таким образом все, я вышел; несколько минут плакал на кладбище, прощаясь с могилами родительскими. Будучи в поле, сто раз оглядывался к деревне, которая синелась вдали, быв освещаема последними лучами заходящего солнца. Начало смеркаться. Я еще оглянулся и протянул к ней руки с плачем. «Простите, смиренные мои хижины, простите, добрые

друзья и прислужники, простите, могилы отца моего и князя Сидора, моей матери и Марьи. Прости всё!»

Густой туман пал на деревню, Я обтер слезы, отворотился и пошел далее, закрыв глаза руками.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I
Объяснение сочинителя

Несколько раз в первой части сего сочинения обещал я читателям пояснить некоторые места; а другие, и без моего обещания, того требуют. Хотя сочинители вообще, а особливо журналисты, не всегда исполняют свои обещания и мало тревожатся, слыша за то осуждения и даже ругательства, однако уверены, что они делают то или по забывчивости, или не зная и сами, как сделать яснее, что воображение их первоначально произвело темным. Поясняя одно обстоятельство, они затемняют другое; делая одну мысль, одно происшествие праводоподобнее, неприметно наводят недоверчивость к другим. Словом: сочинители бывают из доброй воли в таких иногда хлопотах, как стряпчие, распутывая за деньги самое ябедническое дело. Но как еще у меня благодаря бога до того не дошло, – то и намерен спокойно приняться теперь за объяснения.

Во-первых, думаю, некоторым покажется очень сомнительно, что Иван Ефремович так легко мирится всегда с женою и дочерьми, приметя их небольшие непристойности. Соглашаюсь, что тут прекрасный случай открывался мне в лице г-на Простакова наделать множество превосходных нравоучений, разругать без пощады развратность нынешних нравов, когда сыновья и дочери дерзают любить без ведома родителей, чего в старые времена – упаси, боже! и не слыхано. Правда, государи мои: это было бы очень кстати, и я сделал бы, может быть, решась на то, недурно, и именно не упустил бы того из виду, если б писал комедию или трагедию; – но как я мог решиться, описывая жизнь почтенного старца, налгать на него такую небылицу? Он сам того не делал. В нем доброта и чувствительность сердца были в таком высоком степени, что иногда подходили к детской слабости. Его один и тот же бездельник мог обмануть тысячу раз. Он замечал то, – ибо умен был от природы и довольно учен от чтения книг. На один миг рассерживался, но не более. Стоило только наморщить брови и сделать вид нуждающегося человека, Иван Ефремович невольным движением хватался за кошелек свой и отдавал, что мог, думая: «Авось человек этот на сей раз меня не обманывает!» По такому точно побуждению он думал, что довольно одного его родительского взора, а в случае большой надобности – слова или двух, чтоб дочерям своим и жене показать непристойность какого-либо поступка. Он был уверен, что они хорошо его понимали, чувствовали одно, – и совершенно успокоивался. Сверх того, Маремьяна Харитоновна довольно, кажется, сделала разительное наставление на щеках Елизаветы, такой нежной, такой чувствительной!

Другое сомнение читателя не меньше важно. Все видели, что князь Гаврило Симонович родился в деревне, воспитан в самом бедном состоянии, оставил родину, правда, хотя не без денег, но тому уже прошло двадцать лет. Неужели он ото ста червонцев мог что-нибудь сохранить у себя, проживая такое долгое время без всякой посторонней помощи? Это невозможно; да и все не забыли еще, в каком виде за несколько месяцев появился он в доме господ Простаковых. Откуда ж, из каких достатков мог он дать Никандру пятьдесят червонцев? Сверх того, он сам объяснился, что не все отдал, а только поделился. Следовательно, у него должно еще остаться по крайней мере столько же.

В ответ на это, признаюсь, теперь не в силах достаточно удовлетворить желанию читателей; а на всякий случай расскажу следующую иностранную повесть. Хотя она из числа восточных, следовательно, должна быть выдумана; однако многие правдивые люди божатся, что она истинная.

Один индейский Великий Могол был государь мудрый, добрый, благочестивый и правосудный. Главное его старание было не пропустить ни одного дела, служащего к пользе и славе отечества, не наградя щедро того, кто произвел оное. Вельмож двора своего за такие подвиги награждал почестями, возвышением санов и разными знаками отличия. Купцам помогал деньгами, ободрением торговли, сложением пошлин и проч.; хлебопашцев награждал хорошими орудиями к возделыванию земли, сильными быками и тучными овцами. Все были довольны, все счастливы, и тихо, и въявь благословляли имя монарха благодетельного. Однако и он – кто б тому поверил? – имел свою слабость, и слабость непростительную, в таком просвещенном государе; именно он не обращал никакого внимания на факиров[49] земли своей. Вельможи о сем недоумевали; купцы смотрели равнодушно; чернь несколько негодовала; факиры бесились.

Взаимная любовь между монархом и народом есть нечто великое, священное, приятное земным и небесным жителям. Поколебать ее весьма трудно, но нет таких трудностей, которые преодолеть не покусились бы злоба и мщение. Итак, факиры, подобно лютым скорпионам, пресмыкались по земле Индейской; всюду оставляли яд свой, но он долго был недействителен, ибо никто не хотел слушать внушений их, будто Могол не верит богам отечественным, втайне поклоняется чуждым и потому благочестие его есть только притворная личина. Почему же? Потому, что в пять или шесть лет владычествования он не подарил ничего ни на один пагод;[50] ни одного факира не пригласил к столу своему; а прежние благочестивые Моголы делали то каждый день; принимали сих богомольцев по целым стаям и любезно с сими праведниками беседовали по целым часам. Так проповедовали факиры по городам, селам, полям и лесам, везде, где только находили следы человеческие. Прежде, как я упомянул, их совсем не слушали. Они не пришли в уныние и продолжали такое, по их мыслям, богоугодное дело. После их стали слушать, но верить никак не хотели; а наконец, поверили, и смятение разлилось по лицу Индии. Недолго было неизвестно сие монарху мудрому. Все ожидали повелений, но он не давал никаких и улыбался суетливому опасению друзей своих. Он был добр и умен и стоил счастия иметь их. Что же? Он дождался того, что в один день перед царскими его чертогами, на обширной площади, явились целые тысячи факиров, громогласно вопия на безбожие Моголово и предвещая близкое падение целой Индии. Великое множество черни сопровождало их, желая защищать благочестивых старцев в случае какой-либо обиды и любопытствуя знать, как и чем Могол удовлетворит их.

– Спасайся, государь! – кричали вельможи Моголовы. – Беги к райе,[51] брату твоему, пока меж тем мы укротим волнения.

– Вы не так советуете, друзья мои, – отвечал Могол с твердостию и величием. – Пойдем к факирам и народу. Отец должен знать причину неудовольствия детей своих.

Вышед на площадь в сопровождении удивленных вельмож, оп обратил речь к факирам, спрашивая о вине сего стечения. Первостепенный из них открыл ему все, и Могол отвечал:

– Хорошо, дети мои! Я признаю справедливость ваших требований и удовлетворю им! Чрез тридцать дней после сего сбирайтесь все на поле у главного пагода. Там буду я, со всеми великими двора моего, вместе с вами пиршествовать и всех оделю дарами приличными; а между тем пошлю гонцов ко всем раиям, подвластным скипетру моему, прислать сюда ко дню тому всех факиров из земель своих.

Народ поднял радостный крик и пал ниц во прахе. Факиры преклонили колена пред монархом, и все сопровождали шествие его в чертоги благословениями.

С каким нетерпением ожидали назначенного дня! Наконец он настал. Могол, в сопровождении многолюдной свиты и вооруженных телохранителей, явился в показанной долине.

---

[49] Монахи, шатающиеся по Индии в виде нищих. (Прим. В. Т. Нарежного).

[50] Храм индейский. (Прим. В. Т. Нарежного).

[51] Раии – род королей индейских, подвластных Великому Моголу. (Прим. В. Т. Нарежного).

Там стояло великое множество огромных столов с яствами и напитками. Факиров собралось до тридцати тысяч человек. Все ели, пили и восклицали громко, желая Моголу долголетия.

Пиршество кончилось. Могол взошел на возвышенный трон, нарочно приготовленный, и воззвал: «Смиренные факиры! Я обещал вам, сверх насыщения, дары приличные. Теперь исполняю свое обещание».

Он дал знак, и огромные шатры по обеим сторонам трона раскрылись. Там в скирдах лежали новые одежды, факирам приличные. Подле шатров тех пылал великий костер дров.

Могол продолжал: «Старцы благочестивые! Одеяние ваше от долгого ношения превратилось в рубище, и вы более походите на нищих, нежели на почтенных факиров земли Индейской. Итак, теперь всяк из вас да подойдет к костру сему, ввергнет туда все платье свое, все, ничего на себе не оставляя, и тут же получит из шатров тех новое». Смертная бледность покрыла щеки каждого факира. «Повелитель! – воззвал главный из них, преклонив колена. – Нищетою и смирением обреклись мы богам своим и без наказания от них не можем преступить своей клятвы! Это рубище воздерживает нас от злого кичения!»

«Хорошо, – отвечал Могол, – но я также дал слово одеть вас в новые одежды и должен его исполнить. Верховный факир! Подходи первый к огню и повергай в него свое рубище!»

Факиры озирались один к другому с крайним смятением. Они бы покусились еще попытать своего красноречия, но важное лицо монарха, а более грозный вид бесчисленной толпы его телохранителей их от того удержали. Нечего было делать! Трепещущими ногами подходили они к огню, кидали свои вретища и получали новое платье.

Когда таким образом все переоделись и стояли в глубоком молчании, устремя мутные взоры свои на костер, – Могол велел потушить огонь; назначенные прежде к тому служители начали разрывать пепел и в короткое время насыпали у подножия престола кучи денег, в коих насчитали более трех миллионов золотых монет индейских.

Общее удивление, стыд и уныние факиров были неописанны. Чело Великого Могола пылало строгостию правосудия.

«Гнусные лицемеры! – воззвал он. – Это ли знаки нищеты и смирения, коими обрекались вы богам нашим? Удалитесь от лица моего! Вы не достойны гнева Моголова!»

Факиры, преклонив смиренно головы, разошлись в разные стороны; и во все время продолжительного владычествования его не появлялись вблизи столицы. Могол найденное сокровище роздал воинам и народу, коих благодарные гласы возносились к небу.

Вот иностранная повесть. Из нее заключит читатель, что хотя князь Гаврило Симонович и подлинно при первом появлении своем был похож на совершенного факира, но это отнюдь не доказывает, что у него не могли быть деньги. Но где же он взял их? О! это совсем другой вопрос, который, без сомнения, не останется нерешенным в свое время, хотя и весьма нескоро.

Доволен ли сам объяснением моим читатель или нет, не знаю. По крайней мере я имел искреннее желание удовлетворить его хотя покудова. Третие объяснение будет состоять в том: может быть, некоторые из читателей подумают, что князь Гаврило Симонович рассказывает повествование свое непрерывно, в уреченное время, каждый день сряду, так, как у меня иногда бывает несколько глав одна за другою, в коих описывает жизнь свою. Совсем нет! Его иногда прерывали на целые дни и недели, и он молчал. У господ Простаковых также было не без занятий: то хлопотали по хозяйству, то уезжали в гости к деревенским своим соседям, то сами их угощали; а это иногда занимало их по целым, как сказал я, неделям. До сих пор молчал о сем потому, что это такие безделицы, которые и в глазах самого Ивана Ефремовича не стоили никакого внимания, да и к повести моей совсем не принадлежат. Я описываю то только, что входит в состав ее, и теперь говорю о сем так, на всякий случай.

Четвертое возражение, какое могут мне сделать, будет то, что г-н Простаков, такой добрый, такой чувствительный ко всем, любя Никандра с отеческою нежностию, так скоро и так легко успокоился, лишась его почти трагическим образом. Что он пошумел на жену, побранил

ее, это сделал бы и другой, не столько добрый, благодетельный человек. Стоит только представить такую бурю, какая была в сочельник; молодость и беспомощность бедного Никандра: то иной не только пошумит, но покусится на что-нибудь и большее; а г-н Простаков на другой день забыл и после не вспоминал. Он в этом случае сам на себя не походит!

Об этом только что сам я думал; и потому-то, отвращая сие нарекание от добродушного Простакова, отвращаю и от себя. Дальнейшее по сему объяснение увидят во второй главе; а эта пусть будет предисловием ко второй части.

Глава II
Открытие тайны

В первой части оставили мы семейство Простаковых в ожидании писем от князя Светлозарова; а как их не было, то в слушании рассказывания о жизни князя Гаврилы Симоновича. Таким образом в сем нерешительном положении прошло довольно времени, и настало заговенье перед масленой. Иван Ефремович казался необыкновенно озабочен, но чем, того никто не знал. Печали не видно было на лице его, но оно показывало какую-то тень беспокойства, задумчивости и нерешительного положения души. Все домашние это заметили, но никто не смел спросить о причине, ибо наперед был уверен, что ничего не узнает. Даже так думала Маремьяна Харитоновна и не спрашивала. Кто ж отважился первый на такое великое дело? Можно догадаться, что князь Гаврило Симонович. Именно так!

В самое заговенье, когда все по порядку подходили к Ивану Ефремовичу с поздравлениями и уходили каждый за своими надобностями, остался с ним один князь Гаврило Симонович, как человек, у которого не было никакого особенного дела. Они сидели в разных углах, взглядывали друг на друга, отворачивались, опять взглядывали, потупляя глаза вниз и тайно вздыхая, опять отворачивались.

– Право, – вскричал Простаков, – это положение тягостнее, чем в дурную ночь стоять лагерем против неприятеля, с которым надобно в такое же дурное утро сражаться!

– Я почти то же думаю, – отвечал князь Чистяков, взглянув на него значительно.

– А что ты думаешь, князь? – спросил Простаков, закинув на лоб колпак и положив на стол трубку. – Крайне любопытен знать, что ты скажешь!

– То, – отвечал князь, – что целый дом давно замечает некоторую тайну на сердце вашем! Она тем для всех несноснее, что делает вам, как догадываться можно, большое затруднение!

– Это не совсем несправедливо, – продолжал старик. – Если положение мое и не есть совершенно беспокойное, то уж, верно, затруднительное! Можешь ли ты, князь, добраться истины?

– Надеюсь.

– Право? – вскричал Простаков, вскочив со стула; подбежал к князю шагами юноши, сел подле него и спросил разительно: – Так ты постигаешь причину настоящего моего положения? Любопытен знать мысли твои и доводы!

– Их два, – отвечал князь равнодушно. – Первый: неполучение писем от князя Светлозарова; а второй – неизвестность об участи несчастного Никандра!

– Нет, совсем не отгадал! – воскликнул Простаков, захлопав руками, и на лице его изобразилась величавость человека, который уверился, что в свою очередь умеет быть таинственным. Но тут внутренний голос шепнул ему: «Подумай хорошенько, Иван Ефремович!» Он думал, немного покраснел и вдруг, взяв за руку князя Гаврилу Симоновича, сказал вполголоса: – Ты не совсем не прав, любезный друг! – Князь Гаврило Симонович взглянул на него тем топким, испытующим, но вместе доброжелательным взором, который, при всей наружной важности, говорил сердцу любимому: «Откройся мне!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.